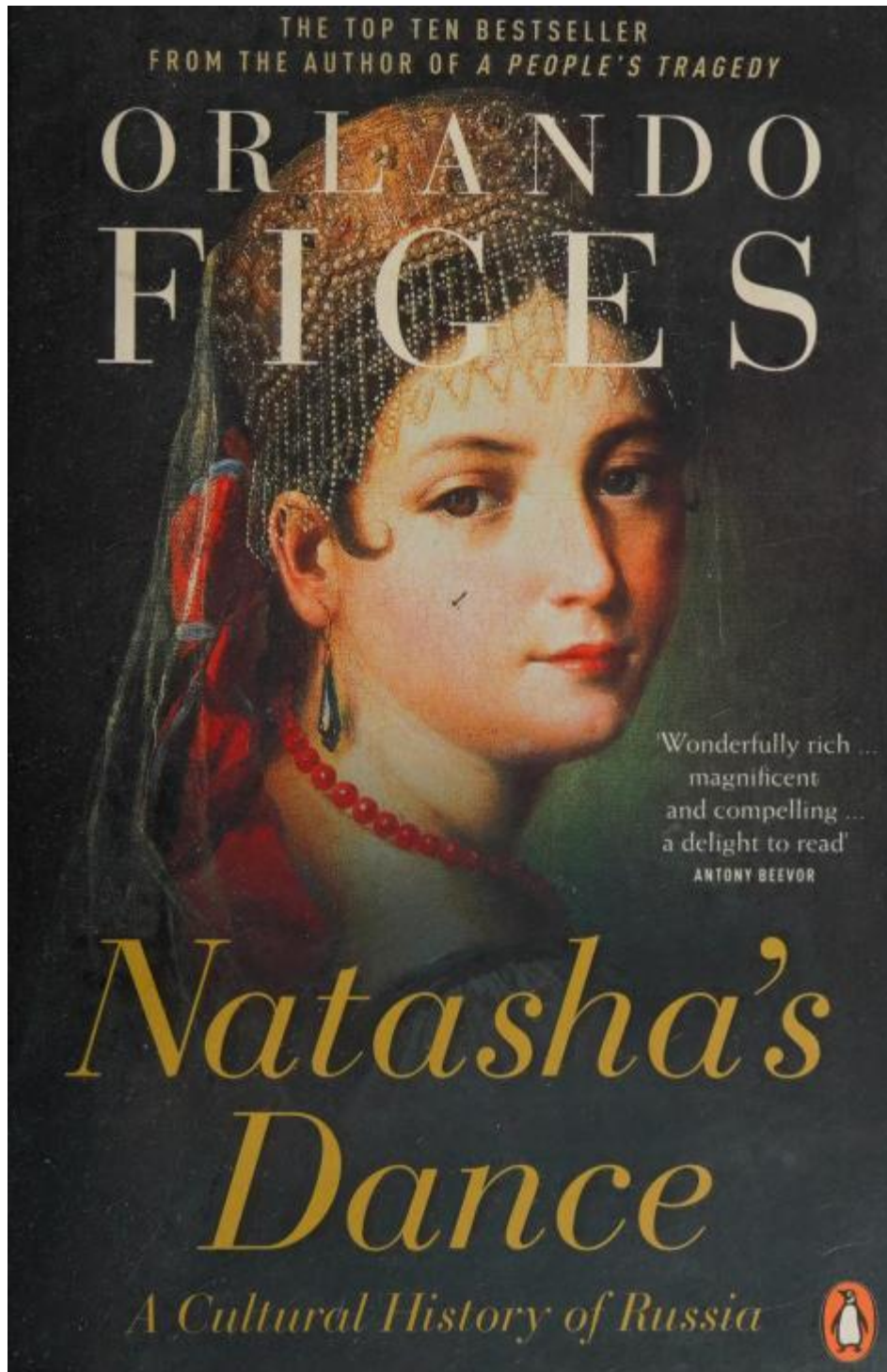


Орландо Файджес

## ТАНЕЦ НАТАШИ

Культурная история России



## ВВЕДЕНИЕ

В «Войне и мире» Толстого есть знаменитая и удивительно прелестная сцена, где Наташа Ростова и её брат Николай после дневной охоты в лесу приезжают по приглашению своего «дядюшки» (как называет его Наташа) в его простую деревянную избушку. Там и живёт этот добросердечный и чудаковатый «дядюшка», отставной военный, со своей ключницей Анисьей - дородной и красивой крепостной из его поместья, которая, как становится ясно по нежным взглядам старика, и есть его негласная «жена». Анисья вносит поднос, уставленный домашними русскими яствами: солёными грибами, ржаными лепёшками на пахте, медовыми вареньями, искристой медовухой, травяной наливкой и разными сортами водки. После трапезы из комнаты, где сидят охотничьи слуги, доносится балалайка. Это вовсе не та музыка, которая могла бы понравиться графине: простая деревенская песня. Но, видя, как она трогает его племянницу, «дядюшка» велит подать гитару, сдувает с неё пыль и, подмигнув Анисье, начинает играть - с точным, всё ускоряющимся ритмом русской пляски - известную любовную песню: «По улице мостовой шла девица за водой». Хотя Наташа никогда прежде не слышала этой народной песни, она пробуждает в её сердце какое-то неведомое чувство. «Дядюшка» поёт по-крестьянски, с убеждением, что смысл песни заключён в словах, а напев, существующий лишь для того, чтобы оттенить слова, «приходит сам собой». Наташе кажется, что такая прямая манера пения сообщает мелодии простое очарование птичьей песни. «Дядюшка» зовёт её в пляс.

«Ну, племянница! -- крикнул дядюшка взмахнув к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала -- эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de châte* давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную

графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.<sup>1</sup>

Что позволило Наташе с такой естественностью подхватить ритмы этого танца? Как могла она так легко войти в эту деревенскую культуру, от которой была так далека и по своему сословию, и по воспитанию? Должны ли мы предположить, как предлагает нам Толстой в этой романтической сцене, что такую страну, как Россия, могут удерживать воедино незримые нити врожденной национальной чувствительности? Этот вопрос подводит нас к самой сердцевине книги. Она называет себя историей культуры. Но элементы культуры, которые найдёт здесь читатель, - это не только великие творения, подобные «Войне и миру», но и предметы быта: от народной вышивки на Наташиной шали до музыкальных условностей крестьянской песни. И призваны они сюда не как памятники искусства, но как отпечатки национального сознания, которое смешивается с политикой и идеологией, общественными обычаями и верованиями, фольклором и религией, привычками и условностями и всем тем умственным хламом и скарбом, из которого складываются культура и образ жизни. Я вовсе не хочу утверждать, будто искусство может служить простым окном в жизнь. Сцену Наташиной пляски нельзя воспринимать как буквальную запись пережитого опыта, хотя мемуары этой эпохи действительно показывают, что дворянки порой и в самом деле перенимали деревенские пляски именно таким образом.<sup>2</sup> Но на искусство можно смотреть как на свидетельство веры - в данном случае как на выражение жажды писателя обрести широкую общность с русским крестьянством, жажды, которую Толстой разделял с «людьми 1812 года», либеральными дворянами и патриотами, господствующими в общественных сценах «Войны и мира».

Россия словно приглашает историка культуры заглянуть глубже внешнего художественного облика. На протяжении двух последних столетий искусства в России служили ареной политических, философских и религиозных споров - при отсутствии парламента и свободной печати. Как писал Толстой в «Нескольких словах по поводу книги "Война и мир"» (1868), великие прозаические произведения русской традиции не были романами в европейском смысле.<sup>3</sup> Это были огромные поэтические построения для символического созерцания, чем-то сродни иконам, лаборатории, в которых испытывались идеи; и, подобно науке или религии, они были одушевлены поиском истины. Всеобъемлющей темой всех этих произведений была Россия - её характер, её история, её обычаи и уклад, её духовная сущность и её судьба. Так, как это было поразительно, если не исключительно для одной лишь России, художественная энергия страны почти целиком была отдана стремлению постичь идею собственной национальности. Нигде художник не был в большей мере обременён задачей нравственного водительствования и национального

---

<sup>1</sup> Л. Толстой, Война и мир, пер. Л. и А. Мод (L. and A. Maude) (Оксфорд, 1998), с. 546

<sup>2</sup> См., например: Е. Хвоцинская, «Воспоминания», Русская старина, т. 93 (1898), с. 581. Этот вопрос рассматривается в главе 2.

<sup>3</sup> Л. Толстой, Полное собрание сочинений в 91 т. (Москва, 1929-1964), т. 16, с. 7.

пророчества; нигде его так не боялось и не преследовало государство. Отчуждённые от официальной России своей политикой, а от крестьянской России - своим образованием, русские художники приняли на себя задачу создать через литературу и искусство национальное сообщество ценностей и идей. Что значило быть русским? В чём состояли место и миссия России в мире? И где была подлинная Россия? В Европе или в Азии? В Петербурге или в Москве? В империи царя или в той грязной деревеньке с единственной улицей, где жил Наташин «дядюшка»? Это были те самые «проклятые вопросы», которые занимали ум всякого серьёзного писателя, литературного критика и историка, живописца и композитора, богослова и философа в золотой век русской культуры - от Пушкина до Пастернака. Это и есть те вопросы, что лежат под поверхностью искусства, о котором говорится в этой книге. Обсуждаемые здесь произведения представляют собой историю идей и установок - представлений о нации, через которые Россия пыталась осмыслить самое себя. Если мы будем смотреть внимательно, они могут стать окном во внутреннюю жизнь народа.

Наташина пляска - одно из таких окон. В её сердцевине - встреча двух совершенно различных миров: европейской культуры высших классов и русской культуры крестьянства. Война 1812 года стала первым моментом, когда эти два мира сошлись в едином национальном образовании. Воодушевлённая патриотическим духом крепостных, аристократия поколения Наташи начала освобождаться от чужеземных условностей своего общества и искать чувство нации, основанное на «русских» началах. Они переходили с французского на родной язык; русифицировали свои обычаи и одежду, свои пищевые привычки и свои вкусы в убранстве интерьеров; уезжали в деревню изучать фольклор, крестьянскую пляску и песню - с целью создать национальный стиль во всех искусствах, протянуть руку к простому человеку и просветить его; а некоторые из них, подобно Наташиному «дядюшке» (или, если уж на то пошло, её брату в конце «Войны и мира»), отказывались от придворной культуры Петербурга и старались жить более просто - то есть более «по-русски» - рядом с крестьянами в своих поместьях.

Сложное взаимодействие этих двух миров оказало решающее влияние и на национальное сознание, и на все искусства XIX века. Это взаимодействие - одна из главных тем книги. Но рассказываемая здесь история вовсе не должна наводить на мысль, будто её итогом стала единая «национальная» культура. Россия была слишком сложна, слишком социально разделена, слишком политически многообразна, слишком неясно очерчена географически и, быть может, слишком велика, чтобы какая-либо одна культура могла быть выдана за национальное наследие. Моя цель, скорее, - радоваться самому этому многообразию русских культурных форм. Именно поэтому толстовский эпизод так много проясняет: он приводит к пляске столь разных людей. Наташу и её брата, которым вдруг открывается этот странный, но пленительный деревенский мир; их «дядюшку», который живёт в этом мире, но всё же не принадлежит ему вполне; Анисью, которая сама деревенская, но живёт с «дядюшкой» на окраине Наташиного мира; охотничьих слуг и прочую дворовую челядь,

которые смотрят - вероятно, с любопытным весельем, а может быть, и с иными чувствами, - как прекрасная графиня исполняет их пляску. Я стремлюсь исследовать русскую культуру так же, как Толстой подаёт Наташину пляску: как ряд встреч, как ряд творческих общественных актов, которые исполнялись и понимались множеством разных способов.

Смотреть на культуру таким преломлённым образом - значит поставить под сомнение саму идею некоего чистого, органического или сущностного ядра. Не существовало никакой «подлинной» русской крестьянской пляски того рода, какую воображал Толстой; и, подобно мелодии, под которую пляшет Наташа, большинство русских «народных песен» в действительности пришло из городов.<sup>4</sup> Другие элементы той деревенской культуры, которую изображает Толстой, могли прийти в Россию из азиатской степи - быть занесёнными монгольскими всадниками, правившими Россией с XIII по XV век, а затем по большей части осевшими в ней как торговцы, скотоводы и земледельцы. Наташина шаль почти наверняка была персидской; и хотя после 1812 года русские крестьянские шали вошли в моду, их орнаментальные мотивы, вероятно, восходили к восточным шалам. Балалайка происходила от домбры, сходного щипкового инструмента центральноазиатского происхождения (дольше широко распространённого в казахской музыке), проникшего в Россию в XVI веке.<sup>5</sup> Сама традиция русской крестьянской пляски, по мнению некоторых фольклористов XIX века, также восходила к восточным формам. Русские танцевали не парами, а шеренгами или кругами, причём ритмические движения исполнялись не только ногами, но и руками, и плечами; в женской пляске огромное значение придавалось тонким, кукольным жестам и неподвижности головы. Ничто не могло быть более непохожим на вальс, который Наташа танцевала с князем Андреем на своём первом балу; и подражать всем этим движениям, должно быть, казалось ей столь же странным, сколь странным, несомненно, представлялось и её крестьянским зрителям. Но если в этой деревенской сцене нельзя откопать никакой древней русской культуры, если многое в любой культуре привнесено извне, то именно в этом смысле Наташина пляска и служит эмблемой того взгляда, который принят в этой книге: нет никакой квинтэссенции национальной культуры, есть лишь мифические её образы - такие, как Наташина версия крестьянской пляски.

Я вовсе не ставлю себе задачей «деконструировать» эти мифы; и не хочу утверждать, выражаясь жаргоном нынешних академических историков культуры, будто русская национальность была не более чем умственной «конструкцией». Существовала Россия, достаточно реальная - Россия, бывшая прежде «России» или «Европейской России», прежде всяких иных мифов национальной идентичности. Существовала историческая Россия древней Московии, весьма отличной от Запада до тех пор, пока Пётр Великий в XVIII веке

---

<sup>4</sup> См. блестящее эссе Ричарда Тарускина: Richard Taruskin, "N. A. Lvov and the Folk", в его книге *Defining Russia Musically: Historical and Hermeneutical Essays* (Princeton, 1997), с. 3-24.

<sup>5</sup> А. С. Фаминцын, *Домра и родные ей музыкальные инструменты русского народа* (С.-Петербург, 1891).

не принудил её сообразоваться с европейскими нормами. Во времена Толстого эта старая Россия всё ещё жила преданиями Церкви, обычаями купечества и значительной части земельного дворянства, а также шестидесятимиллионного крестьянства империи, рассеянного по полумиллиону отдалённых деревень среди лесов и степей, где образ жизни оставался почти неизменным веками. Именно биение сердца этой России отзывается в сцене Наташиной пляски. И, конечно, не столь уж фантастично было со стороны Толстого вообразить, что существует некий русский здравый смысл, связывающий юную графиню со всякой русской женщиной и со всяким русским мужчиной. Ибо, как эта книга попытается показать, существует русский темперамент, существует совокупность исконных обычаев и верований, нечто телесное, эмоциональное, инстинктивное, передаваемое из поколения в поколение, что помогало формировать личность и сплачивать общину. Этот трудноуловимый темперамент оказался долговечнее и значительнее любого русского государства: он дал народу силы пережить самые тёмные минуты его истории и объединил тех, кто после 1917 года бежал из Советской России. Я не намерен отрицать это национальное сознание; я лишь хочу показать, что постижение его было заключено в миф. Принуждённые стать европейцами, образованные классы настолько отчуждились от старой России, так надолго разучились говорить и действовать по-русски, что, когда в эпоху Толстого они вновь попытались определить себя как «русских», им пришлось заново изобрести эту нацию при помощи исторических и художественных мифов. Они открывали собственную «русскость» через литературу и искусство - точно так же, как Наташа открыла свою «русскость» через ритуалы пляски. Отсюда и задача книги - не просто развенчать эти мифы, а исследовать и объяснить ту необычайную силу, с которой они формировали русское национальное сознание.

Все главные культурные движения XIX века были организованы вокруг этих вымышленных образов русской национальности: славянофилы - со своим сопутствующим мифом о «русской душе», о природном христианстве крестьянства и со своим культом Московии как носительницы истинно «русского» образа жизни, который они идеализировали и старались утвердить как альтернативу европейской культуре, усвоенной образованными элитами с XVIII века; западники - с их встречным культом Петербурга, этого «окна в Европу», с его классическими ансамблями, воздвигнутыми на болотах, отвоёванных у моря, - символом их собственного прогрессивного просветительского стремления заново начертить Россию по европейской сетке; народники, недалёкие в этом от Толстого, - с их представлением о крестьянине как о природном социалисте, чьи сельские учреждения дадут образец для нового общества; и скифы, видевшие в России «стихийную» культуру азиатской степи, которая в грядущей революции сметёт мёртвую тяжесть европейской цивилизации и утвердит новую культуру, где человек и природа, искусство и жизнь будут едины. Эти мифы были не просто «конструкциями» национальной идентичности. Все они сыграли решающую роль в формировании идей и политических привязанностей России, а также в развитии представления о себе - от самых высоких форм личной и национальной самоидентичности до самых будничных вопросов одежды или

пищи, даже до того, каким языком человек пользовался. Славянофилы особенно наглядно это показывают. Их представление о «России» как о патриархальной семье, основанной на исконных христианских началах, стало организующим ядром новой политической общности в средние десятилетия XIX века, объединявшей старое провинциальное дворянство, московское купечество и интеллигенцию, духовенство и некоторые слои государственной бюрократии. Мифическое понятие русской национальности, сведшее эти группы вместе, надолго овладело политическим воображением. Как политическое движение оно влияло на позицию правительства в вопросах свободной торговли и внешней политики, а также на отношение дворянства к государству и крестьянству. Как широкое культурное движение, славянофильство выработало определённый стиль речи и одежды, особые коды общественного общения и поведения, свой стиль архитектуры и внутреннего убранства, свой подход к литературе и искусству. Это был мир лаптей, домотканых кафтанов и бород, щей и кваса, деревянных домов «под народное» и ярко раскрашенных церквей с луковичными главами.

В западном воображении именно эти культурные формы слишком часто и воспринимались как нечто «подлинно русское». Но и это восприятие - тоже миф: миф об экзотической России. Этот образ впервые был вывезен за границу «Русскими сезонами» с их собственной экзотизированной версией Наташиной пляски, а затем оформлен такими иностранными писателями, как Рильке, Томас Манн и Вирджиния Вулф, которые превозносили Достоевского как величайшего романиста и распространяли собственные версии «русской души». Если и есть один миф, который действительно следует рассеять, так это представление о России как об экзотическом и где-то-инобытийном мире. Русские давно жалуются, что западная публика не понимает их культуры, что западные люди смотрят на Россию издалека и не желают вникать в её внутренние тонкости так, как вникают в культуры собственного круга. Эта жалоба, хотя и питается отчасти обидой и уязвлённой национальной гордостью, вовсе не лишена оснований. Мы склонны отправлять русских художников, писателей и композиторов в культурное гетто «национальной школы» и судить о них не как об отдельных личностях, а по тому, насколько они соответствуют этому стереотипу. Мы ждём, чтобы русские были «русскими», - чтобы их искусство легко отличалось по народным мотивам, по луковичным главам, по звону колоколов, чтобы оно было исполнено «русской души». Ничто не сделало больше для затемнения правильного понимания России и её центрального места в европейской культуре между 1812 и 1917 годами. Великие деятели русской культурной традиции - Карамзин, Пушкин, Глинка, Гоголь, Толстой, Тургенев, Достоевский, Чехов, Репин, Чайковский и Римский-Корсаков, Дягилев, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Шагал и Кандинский, Мандельштам, Ахматова, Набоков, Пастернак, Мейерхольд и Эйзенштейн - были не просто «русскими», но и европейцами, и эти две идентичности переплетались и взаимно зависели одна от другой множеством способов. Как бы они ни старались, русским вроде них невозможно было подавить в себе ни одну из этих сторон.

Для европейских русских существовали два весьма различных способа личного поведения. В салонах и бальных залах Петербурга, при дворе или в театре, они были вполне *comme il faut*: разыгрывали свои европейские манеры почти как актёры на публичной сцене. Но на другом, быть может, бессознательном уровне, и в менее формальных сферах частной жизни брали верх исконно русские поведенческие привычки. Одна из таких перемен описана в посещении Наташей дома её «дядюшки»: то, как ей надлежит вести себя дома, в ростовском дворце, или на балу, где её представляют императору, - бесконечно далеко от этой деревенской сцены, где её выразительной природе позволено свободно излиться. Очевидно, именно её общительное наслаждение такой раскованной средой и передаётся в её пляске. То же ощущение расслабленности, становления «более самим собой» в русской среде разделяли многие русские из круга Наташи, включая, по-видимому, и самого её «дядюшку». Простые радости усадебной жизни или дачи - охота в лесу, баня, или то, что Набоков называл «очень русским спортом - ходить по грибы»<sup>6</sup>, [*отмечу, что Набоков называл это любимейшим занятием своей матери, видать, источник, которым пользовался автор, «грешит» неточностью* - прим.перев.] - были не только возвращением к сельской идиллии: они были выражением собственной русскости. Истолковать такие привычки - одна из задач этой книги. Пользуясь искусством и художественной прозой, дневниками и письмами, мемуарами и нормативной литературой, она стремится уловить структуры русской национальной идентичности. «Идентичность» ныне - модное слово. Но оно мало что значит, если нельзя показать, как она проявляется в социальном взаимодействии и поведении. Культура состоит не только из произведений искусства или литературных дискурсов, но и из неписанных кодов, знаков и символов, ритуалов и жестов, общих установок, которые закрепляют общественный смысл этих произведений и организуют внутреннюю жизнь общества. Поэтому читатель увидит здесь, что такие литературные произведения, как «Война и мир», перемежаются эпизодами повседневной жизни - детства, брака, религиозной жизни, отношений к ландшафту, привычек в еде и питье, отношения к смерти, - где можно различить очертания этого национального сознания. Именно в таких эпизодах мы, возможно, и найдём в самой жизни те незримые нити общей русской чувствительности, которые Толстой вообразил в своей знаменитой сцене пляски.

Нужно сказать несколько слов о построении книги. Это истолкование культуры, а не исчерпывающая история, и потому читателю следует помнить, что иным великим культурным фигурам, быть может, достанется меньше страниц, чем они заслуживают. Мой подход тематичен. Каждая глава исследует отдельную нить русской культурной идентичности. Главы движутся от XVIII века к XX, однако строгая хронология нарушается ради тематической цельности. Есть два кратких момента (заключительные разделы третьей и четвёртой глав), где переходит рубеж 1917 года. Как и в других немногих случаях, когда исторические периоды, политические события или культурные институты рассматриваются вне последовательности, я даю некоторые пояснения для читателей,

---

<sup>6</sup> В. Набоков, *Память, говори* (Speak, Memory) (Хармондсворт, 1969), с. 35.

недостаточно знакомых с русской историей. (Тем, кому потребуется больше, следует обратиться к Хронологической таблице.) Моё повествование завершается эпохой Брежнева. Отмечаемая в книге культурная традиция тогда завершила естественный цикл, а то, что пришло после, вполне может оказаться началом чего-то нового. Наконец, в книге снова и снова возникают темы и вариации, лейтмотивы и линии преемства - такие, как культурная история Петербурга и семейные повествования двух великих дворянских династий, Волконских и Шереметевых. Смысл всех этих изгибов и переплетений откроется читателю лишь в конце.

EUROPEAN  
RUSSIA



# ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

## I

В туманное весеннее утро 1703 года с дюжину русских всадников пересекали унылые и пустынные болотистые низины там, где Нева впадает в Балтийское море. Они искали место для крепости против шведов, которые тогда воевали с Россией и считались хозяевами этих давно заброшенных топей. Но для царя сухопутной России, ехавшего во главе разведочного отряда, зрелище широкой, извилисто текущей к морю реки было полно надежды и обетования. Приблизившись к побережью, он спешил. Штыком вырезал из торфа две полосы и сложил их крестом на зыбкой болотной земле. Затем Пётр сказал: «Здесь быть городу».<sup>1</sup>

Трудно было найти место менее пригодное для столицы крупнейшего государства Европы. Сеть мелких островов в сырой дельте Невы заросла лесом. Весной её заволакивали густые туманы от тающих снегов, а ветры так разливали реки, что вода нередко поднималась выше суши. Для человеческого жилья это было место негодное; даже те немногие рыбаки, что отваживались приезжать сюда летом, надолго не задерживались. Единственными постоянными обитателями были волки и медведи.<sup>2</sup> Тысячу лет назад эта местность лежала под морем. Между Балтикой и Ладогой тянулся пролив, а острова там, где теперь Пулковские и Парголово-ские высоты, поднимались над водой. Даже в царствование Екатерины Великой, в конце XVIII века, Царское Село, где она построила свой Летний дворец на Пулковских высотах, местные жители по-прежнему называли Сарским Селом. Это имя происходило от финского слова *saari* - «остров».

Когда солдаты Петра начали рыть землю, они уже на глубине примерно в метр наткнулись на воду. Лишь на северном острове, где почва была чуть повыше, можно было заложить твёрдое основание. За четыре месяца лихорадочной работы, в ходе которой погибла по меньшей мере половина рабочих, двадцать тысяч рекрутов возвели Петропавловскую крепость, выкапывая землю голыми руками, волоча брёвна и камни или перетаскивая их на спине и унося грунт в складках собственной одежды.<sup>3</sup> Сам размах и темп строительства поражали воображение. Уже через несколько лет устье превратилось в кипящую стройку, а когда победы над Швецией в 1709–1710 годах упрочили русский контроль над побережьем, город с каждым днём обретал всё новый облик. Четверть миллиона крепостных и солдат, согнанных сюда из самых отдалённых мест - с Кавказа и из Сибири, - работали днём и ночью: вырубали леса, рыли каналы, прокладывали дороги, возводили дворцы.<sup>4</sup> Плотники

---

<sup>1</sup> С. Соловьёв, История России с древнейших времён, в 29 т. (Москва, 1864–1879), т. 14, с. 1270.

<sup>2</sup> «Петербург в 1720 г. Записки поляка-очевидца», Русская старина, 25 (1879), с. 265.

<sup>3</sup> Петербург петровского времени (Ленинград, 1948), с. 22; «Описание Санктпетербурга и Кроншлота в 1710-м и 1711-м гг.», в: Русская старина, 25 (1879), с. 37.

<sup>4</sup> А. Даринский, История Санкт-Петербурга (С.-Петербург, 1999), с. 26. Здесь приводится цифра в 150 000 рабочих, однако без учёта солдат и шведских военнопленных.

и каменщики, которым указом было запрещено работать где-либо ещё, хлынули в новую столицу. Извозчики, ледоломы, ямщики, лодочники и чернорабочие съезжались в поисках заработка и спали в деревянных лачугах, теснившихся на каждом свободном клочке. Поначалу всё делалось грубо и наспех, самыми примитивными ручными орудиями: топор господствовал над пилой, а простые телеги сколачивали из неошкуренных стволов с крошечными колёсами из берёзовых чурбаков. Потребность в камне была столь велика, что каждое судно и каждая повозка, прибывавшие в город, обязаны были привозить установленное количество камня. Но вскоре возникли новые производства: кирпича, стекла, слюды, брезента; а верфи непрестанно умножали оживлённое движение по городским водным артериям - парусные лодки и баржи, нагруженные камнем, а также миллионы брёвен, которые ежегодно сплавляли вниз по реке.

Словно волшебный город русской сказки, Санкт-Петербург вырос с такой фантастической быстротой, и всё в нём было столь блистательно и ново, что очень скоро он сам стал городом, окружённым мифом. Когда Пётр произнёс: «Здесь быть городу», его слова отозвались эхом божественного повеления: «Да будет свет». И, как гласит предание, в ту самую минуту орёл, пролетающий над головой Петра, опустился на две берёзы, связанные аркой. Панегиристы XVIII века возвели Петра в сан божества: он был и Титан, и Нептун, и Марс в одном лице. «Петрополь» они сравнивали с древним Римом. Это сопоставление поддерживал и сам Пётр, приняв титул *Imperator* и приказав чеканить свой лик на новых рублёвых монетах - в лавровом венке и доспехах, по образцу Цезаря. Знаменитые первые строки пушкинского «Медного всадника» (1833), которые каждый русский школьник знает наизусть, навеки закрепили миф о петербургском творении провиденциального человека:

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн,  
И вдаль глядел...<sup>5</sup>

Благодаря пушкинским строкам легенда вошла в самый фольклор. Город, названный в честь небесного покровителя Петра и с тех пор трижды переименованный в угоду переменчивой политике, жители его и доныне называют попросту - «Питер».<sup>6</sup>

В народном воображении чудесное возникновение города из моря с самого начала придало ему легендарный статус. Русские говорили, что Пётр сначала создал свой город в небе, а потом, словно огромную модель, опустил его на землю. Иначе нельзя было объяснить появление города, построенного на песке. Представление о столице, не укоренённой в почве, легло в основу того мифа о Петербурге, который вдохновил столь многое в русской литературе и искусстве. В этой мифологии Петербург был городом нереальным,

---

<sup>5</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 17 т. (Москва, 1937–1949), т. 5, с. 436

<sup>6</sup> А. Булак и Н. Абакумова, Каменное убранство центра Ленинграда (Ленинград, 1987), с. 4-11.

сверхъестественным царством фантазий и призраков, чуждым апокалиптическим миром. Здесь обитали одинокие, наваждённые тени из гоголевских «Петербургских повестей» (1835); здесь жили фантазёры и убийцы, подобные Раскольникову из Достоевского «Преступления и наказания» (1866). Видение всеразрушающего наводнения стало постоянным мотивом городских пророчеств о гибели - от пушкинского «Медного всадника» до «Петербурга» Белого (1913–1914). Но за этим пророчеством стоял факт: город действительно был построен над поверхностью земли. Колоссальные массы щебня и мусора свозились сюда, чтобы поднять улицы над водой. Частые наводнения первых лет требовали всё новых починок и укреплений, и улицы поднимались ещё выше. Когда в 1754 году началось строительство нынешнего Зимнего дворца, четвёртого на этом месте, грунт, на который легли его основания, был уже на три метра выше, чем полвека назад.

Город, воздвигнутый на воде из привозного камня, Петербург как будто бросал вызов естественному порядку вещей. Знаменитый гранит его набережных везли из Финляндии и Карелии; мрамор для дворцов - из Италии, с Урала и с Ближнего Востока; габбро и порфир - из Швеции; долерит и сланец - с Онежского озера; песчаник - из Польши и Германии; травертин - из Италии; изразцы - из Нидерландов и Любека.<sup>7</sup> Лишь известняк добывался поблизости. Сам подвиг перевозки такого количества камня можно сравнить разве что со строительством пирамид. Огромную гранитную глыбу для постаментов фальконетовской конной статуи Петра Великого высотой в двенадцать метров и почти в тридцать метров в окружности, весившую около 660 000 килограммов, тысяча человек передвигали восемнадцать месяцев - сперва с помощью системы блоков, а потом на специально построенной барже - на протяжении тринадцати километров от лесной поляны, где её нашли, до столицы.<sup>8</sup>



**Перемещение огромной гранитной глыбы для пьедестала «Медного всадника».**  
Гравюра по рисунку Е. П. Давыдова. 1782. Engraving after a drawing by E. P. Davydov, 1782

<sup>7</sup> И. А. Зембницкий, Об употреблении гранита в Санкт-Петербурге (С.-Петербург, 1834), с. 21.

<sup>8</sup> О. Монферран, Сведения о добывании и перевозке гранитных колонн, назначенных для портиков Исаакиевского собора (С.-Петербург, 1820), с. 18 и сл

Пушкинский «Медный всадник» превратил этот безмолвный монумент в эмблему русской судьбы. Тридцать шесть колоссальных гранитных колонн Исаакиевского собора вырубали из скалы кувалдами и зубилами, затем вручную тащили более тридцати километров к баржам в Финском заливе, после чего доставляли в Петербург и поднимали огромными деревянными кранами.<sup>9</sup> Самые тяжёлые глыбы перевозили зимой, когда снег облегчал волок; но это означало, что до весенней оттепели, когда камень можно было погрузить на суда, приходилось ждать. И всё же даже тогда работа требовала армии в несколько тысяч человек и санных упряжек по двести лошадей в каждой.<sup>10</sup>

Петербург вырос не так, как вырастают прочие города. Ни торговля, ни геополитика не могут вполне объяснить его развитие. Скорее, он был создан как произведение искусства. Как заметила французская писательница мадам де Сталь, посетившая город в 1812 году, «здесь всё создано для зрительного восприятия». Порой казалось, будто город собран как гигантская *mise-en-scène*, где и здания, и люди служат не более чем театральными декорациями. Европейских путешественников, привыкших к смешению архитектурных стилей в своих городах, особенно поражала странная, неестественная красота петербургских ансамблей, и они нередко сравнивали их со сценой. «На каждом шагу меня изумляло это соединение архитектуры и театральной декорации», - писал в 1830-х годах маркиз де Кюстин. - «Пётр Великий и его преемники смотрели на свою столицу как на театр». В известном смысле Петербург был лишь более грандиозной разновидностью позднейшей сценической постановки - «потёмкинских деревень»: картонных классических фасадов, возведённых за ночь вдоль берегов Днепра, чтобы усладить взор Екатерины Великой, когда она проплывала мимо.

Петербург мыслился как композиция из природных стихий - воды, камня и неба. Именно это понимание отразилось в городских панорамах XVIII века, стремившихся подчеркнуть художественную гармонию всех этих элементов.<sup>11</sup> Пётр, всегда любивший море, был пленён широкой, стремительной Невой и открытым небом как фоном для своего замысла. Амстердам, который он видел, и Венеция, знакомая ему лишь по книгам и картинам, стали ранними вдохновителями для системы дворцовых каналов и набережных. Но в архитектурных вкусах Пётр был эклектичен и охотно заимствовал понравившееся ему из европейских столиц. Суровый классический барокко петербургских храмов, столь отличный от ярко расписанных московских церквей с луковичными главами, был смесью собора Святого Павла в Лондоне, собора Святого Петра в Риме и одношпильных храмов

---

<sup>9</sup> С. Алопеус, Краткое описание мраморных и других каменных ломов, гор и каменных пород, находящихся в российской Карелии (С.-Петербург, 1787), с. 35–36; В. П. Соболевский, «Геогностическое обозрение старой Финляндии и описание рускольских мраморных ломов», Горный журнал (1839), кн. 2–6, с. 72–73.

Journey for Our Time: The Journals of the Marquis de Custine, пер. P. Penn Kohler (Лондон, 1953), с. 110.<sup>10</sup>

<sup>11</sup> Г. Каганов, Images of Space: St Petersburg in the Visual and Verbal Arts, пер. S. Monas (Stanford, 1997), с. 15.

Риги - ныне латвийской. Из своих европейских путешествий 1690-х годов Пётр привёз архитекторов и инженеров, ремесленников и художников, мебельщиков и садовых мастеров. [*Главными архитекторами Петербурга в царствование Петра Великого были Доменико Трезини (из Италии), Жан Леблон (из Франции) и Георг Маттарнови (из Германии).*] Шотландцы, немцы, французы, итальянцы - все они в большом числе селились в Петербурге в XVIII веке. Для «рая» Петра не жалели никаких расходов. Даже в самый разгар войны со Швецией в 1710-х годах он непрестанно вмешивался в мельчайшие подробности планов. Чтобы Летний сад был «лучше Версаля», он выписывал из Персии пионы и цитрусовые деревья, с Ближнего Востока - декоративных рыб, а из Индии - даже певчих птиц, хотя немногие из них переживали русские морозы.<sup>12</sup> Пётр издавал указы, предписывавшие дворцам иметь правильные фасады по утверждённым им самим чертежам, единые линии крыш, железные решётки на балконах и стены со стороны набережной. Чтобы украсить город, он даже велел заново выстроить бойню - в стиле рококо.<sup>13</sup>

«В этой столице господствует своего рода ублюдочная архитектура, - писал в середине XVIII века граф Альгаротти. - Она крадёт у итальянцев, французов и голландцев».<sup>14</sup> К XIX веку взгляд на Петербург как на искусственную копию западного стиля стал общим местом. Александр Герцен однажды заметил, что Петербург «отличается от всех остальных европейских городов тем, что похож на них всех».<sup>15</sup> И всё же, при всех очевидных заимствованиях, город обладал собственным, неповторимым характером - порождённым его открытым положением между морем и небом, величию масштаба и единством архитектурных ансамблей, придававших ему особую художественную цельность. Художник Александр Бенуа, влиятельный человек в кругу Дягилева и ревностный поклонник Петербурга XVIII века, прекрасно выразил это чувство цельности. «Если он прекрасен, - писал он в 1902 году, - то прекрасен именно в целом, или, вернее, огромными кусками».<sup>16</sup> В то время как старые европейские города строились веками и в итоге становились, в лучшем случае, собраниями прекрасных зданий различных эпох и стилей, Петербург был завершён за каких-нибудь пятьдесят лет и по единому своду принципов. И нигде больше этим принципам не было дано столько простора. Архитекторы в Амстердаме и Риме испытывали постоянную тесноту; в Петербурге же они могли разворачивать свои классические идеалы вширь. Прямая линия и квадрат получили здесь воздух и размах в просторных панорамах. Повсюду вода позволяла возводить дворцы низкими и широкими, уравновешивая их пропорции отражением в реках и каналах и создавая эффект,

---

<sup>12</sup> «Петербург в 1720 г. Записки пояка-очевидца, с.267

<sup>13</sup> С. Луппов, История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века (Москва—Ленинград, 1957), с. 48; Очерки истории Ленинграда, т. 1: Период феодализма (Москва—Ленинград, 1955), с. 116.

<sup>14</sup> Letters to Lord Harvey and the Marquis Scipio Maffei, containing the state of the trade, marine, revenues, and forces of the Russian empire: with the history of the late war between the Russians and the Turks (Глазго, 1770), с. 76.

<sup>15</sup> А. И. Герцен, «Москва и Петербург», Полное собрание сочинений в 30 т. (Москва, 1954), т. 2, с. 36.

<sup>16</sup> А. Бенуа, «Живописный Петербург», Мир искусства, т. 7, № 2 (1902), с. 1.

одновременно бесспорно прекрасный и величественный. Вода смягчала тяжесть барокко и придавала движение зданиям, выстроенным вдоль её края. Высший пример - Зимний дворец. При всей своей громадности - 1050 комнат, 1886 дверей, 1945 окон, 117 лестниц - он почти кажется плывущим вдоль набережной; синкопированный ритм белых колонн на его голубом фасаде создаёт ощущение движения, переключаясь с течением Невы.

Ключом к этому архитектурному единству было планирование города как ряда ансамблей, связанных в гармоническую сеть проспектов и площадей, каналов и парков, развёрнутых на фоне реки и неба. Первый настоящий план возник после учреждения в 1737 году Комиссии о Санкт-Петербургском строении, через двенадцать лет после смерти Петра. В основе его лежала идея города, расходящегося тремя лучами от Адмиралтейства, подобно тому как Рим расходуется от Piazza del Popolo. Так золотой шпиль Адмиралтейства стал символическим и топографическим центром города, видимым в конце трёх длинных проспектов - Невского, Гороховой и Вознесенского, - сходящихся к нему. С 1760-х годов, когда была учреждена Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга, планировка города как последовательности ансамблей стала ещё отчётливее. Были введены строгие правила, предписывавшие каменное строительство и единообразные фасады для дворцов на модном Невском проспекте. Эти правила подчёркивали художественное понимание проспекта как прямой, непрерывной линии, тянущейся до пределов зрения. Это отразилось и в гармоничных панорамах художника М. И. Махаева, заказанных императрицей Елизаветой к пятидесятилетию основания города в 1753 году. Но зрительная гармония была не единственной целью такого регламентирования: зональное деление столицы служило и формой социального устройства. Аристократические кварталы вокруг Зимнего дворца и Летнего сада были серией каналов и проспектов отчётливо отделены от района писцов и торговцев у Сенной площади - того самого Петербурга Достоевского - и от рабочих окраин ещё дальше. Мосты через Неву, как знают все, кто видел эйзенштейновский «Октябрь» (1928), можно было развести, чтобы не пустить рабочих в центральные районы.

Петербург был не просто городом. Он был гигантским, почти утопическим проектом культурной инженерии, призванным пересоздать русского человека как европейца. В «Записках из подполья» (1864) Достоевский назвал его «самым отвлечённым и умышленным городом на всём земном шаре».<sup>17</sup> Всё в его петровской культуре было задумано как отрицание «средневековой» - то есть московской XVII века - Руси. По замыслу Петра, стать петербуржцем значило оставить позади «тёмные» и «отсталые» обычаи русского прошлого в Москве и войти уже как европейский русский в современный западный мир прогресса и просвещения.

Московская Русь была цивилизацией религиозной. Её корни уходили в духовные традиции Восточной Церкви, восходившие к Византии. В некоторых отношениях она напоминала

---

<sup>17</sup> Ф. Достоевский, Записки из подполья. II, пер. J. Coulson (Harmondsworth, 1972), с. 17.

средневековую культуру Центральной Европы, с которой была связана религией, языком, обычаями и многим иным. Но исторически и культурно она оставалась изолированной от Европы. Её западные земли были лишь слабым выступом на европейский континент: прибалтийские территории Российская империя захватила лишь в 1720-х годах, западную Украину и львиную долю Польши - лишь в конце XVIII века. В отличие от Центральной Европы, Московия почти не испытала воздействия ни Возрождения, ни Реформации. Она не участвовала ни в морских открытиях, ни в научных революциях раннего Нового времени. В ней не было больших городов в европейском смысле, не было княжеских или епископских дворов, покровительствующих искусствам, не было настоящего бюргерства или среднего сословия, не было университетов или публичных школ, кроме монастырских академий.

Господство Церкви тормозило развитие в Московии тех светских форм искусства, которые со времён Возрождения возникали в Европе. Вместо этого центральным предметом религиозного уклада Московской Руси была икона. Она была не только художественным произведением, но и предметом повседневного ритуала. Иконы встречались повсюду - не только в домах и храмах, но и в лавках, конторах, в придорожных часовнях. Между иконой и европейской традицией светской живописи, восходящей к Возрождению, почти не было связующих звеньев. Правда, в конце XVII века такие русские иконописцы, как Симон Ушаков, начали отходить от сурового византийского стиля средневековой иконы в сторону классических приёмов и чувственности западного барокко. Но европейские посетители неизменно поражались примитивному состоянию русских изобразительных искусств. «Плоски и безобразны», - заметил в 1660-х годах о кремлёвских иконах английский врач при русском дворе Сэмюэл Коллинз; «если бы вы увидели их образы, то приняли бы их не более чем за позолоченные пряники».<sup>18</sup> Первые светские портреты - парсуны - относятся лишь к 1650-м годам. Но и в них всё ещё сохраняется плоский иконный стиль. Царь Алексей, правивший с 1645 по 1676 год, - первый русский государь, о котором у нас есть хоть сколько-нибудь достоверное подобие. Другие виды живописи - натюрморт, пейзаж, аллегория, жанровая сцена - вовсе отсутствовали в русском художественном обиходе до царствования Петра, а то и дальше.

Развитие прочих светских искусств столь же сильно стеснялось Русской Церковью. Инструментальная музыка - в отличие от церковного пения - считалась грехом и беспощадно преследовалась церковными властями. И всё же существовала богатая народная традиция бродячих певцов и музыкантов - скоморохов (которых Стравинский вывел в «Петрушке»), странствовавших по деревням с бубнами и гусями, уходя от церковных сыщиков. Литература тоже была скована вездесущей Церковью. Не существовало печатных листков новостей или журналов, не печатались пьесы и стихи, хотя

---

<sup>18</sup> L. E. Barry and R. O. Crummey (ред.), *Rude and Barbarous Kingdom: Russia in the Accounts of Sixteenth-century English Voyagers* (Madison, Wisc., 1968), с. 83.

к концу XVII века, с появлением дешёвых способов печати, уже процветало издание народных сказок и стихов в виде лубков. Когда Пётр взойшёл на престол в 1682 году, московская печать с самого своего основания в 1560-х годах выпустила не более трёх книг нерелигиозного содержания.<sup>19</sup>

Пётр ненавидел Московию. Он презирал её архаическую культуру и провинциальную замкнутость, её суеверный страх перед Западом и ненависть к нему. Охота на ведьм была обычным делом, а иноземных еретиков публично сжигали на Красной площади; последний из них, протестант, был казнён в 1689 году, когда Петру исполнилось семнадцать лет. В юности Пётр много времени проводил в особой Немецкой слободе, где под давлением Церкви были вынуждены жить московские иностранцы. Он носил западное платье, брил бороду и, в отличие от православных, ел мясо в Великий пост. Молодой царь отправился по северной Европе, чтобы своими глазами увидеть новые технологии, которые были нужны России для превращения в континентальную военную державу. В Голландии он работал корабельным плотником. В Лондоне посещал обсерваторию, арсенал, Королевский монетный двор и Королевское общество. В Кёнигсберге изучал артиллерию. Из своих путешествий он вынес всё, что требовалось для превращения России в современное европейское государство: флот по голландскому и английскому образцу; военные школы - по шведскому и прусскому; правовые системы, заимствованные у немцев; Табель о рангах, приспособленную по датскому образцу. Он заказывал батальные сцены и портреты для прославления престижа своей державы, покупал скульптуры и декоративные картины для европейских дворцов Петербурга.

Всё в новой столице было задумано так, чтобы принудить русских к более европейскому образу жизни. Пётр указывал своим дворянам, где жить, как строить дома, как передвигаться по городу, где стоять в церкви, сколько держать слуг, как есть на пирах, как одеваться и стричь волосы, как вести себя при дворе и как разговаривать в благовоспитанном обществе. В его пригнанной, как на муштре, столице ничто не было оставлено случаю. Эта навязчивая регламентация и создала образ Петербурга как места враждебного и гнетущего. Здесь лежали истоки мифа XIX века о «нереальном городе» - чуждом и угрожающем русскому образу жизни, - которому предстояло сыграть столь большую роль в русской литературе и искусстве. «В Петербурге, - писал Бенуа, - есть тот же римский дух, суровый и абсолютный дух порядка, дух формально совершенной жизни, невыносимый для русской неряшливости, но, несомненно, не лишённый своеобразного обаяния». Он сравнивал город с «сержантом с палкой» - в нём был «машинный характер», - тогда как русские казались ему похожими на «растрёпанную старуху».<sup>20</sup> Образ императорского города в XIX веке определялся именно представлением о его регламентированности. Де Кюстин замечал, что Петербург больше похож на «генеральный

---

<sup>19</sup> L. Hughes, *Russia in the Age of Peter the Great* (New Haven, 1998), с. 185.

<sup>20</sup> Бенуа, «Живописный Петербург», с. 1.

штаб армии, чем на столицу нации».<sup>21</sup> А Герцен говорил, что своим однообразием он напоминает ему «военную казарму».<sup>22</sup> Это был город нечеловеческих пропорций, город, подчинённый отвлечённой симметрии своих архитектурных форм, а не жизни его обитателей. Более того, само назначение этих форм состояло в том, чтобы строем, как солдат, выровнять русских.

И всё же под поверхностью этой европейской мечты проступала старая Россия. Донимаемые царскими приказами строить классические фасады, многие вельможи по-прежнему позволяли скоту бродить по дворам своих петербургских дворцов, как и в московских усадьбах, так что Петру не раз приходилось издавать указы, запрещавшие коровам и свиньям выходить на его прекрасные европейские проспекты.<sup>23</sup> Но даже Невский - самый европейский из его проспектов - был испорчен «русской» кривизной. Задуманный как строгий прямой *prospekt*, идущий от Адмиралтейства на одном конце к Александро-Невскому монастырю в трёх километрах на другом, он строился двумя отдельными командами, шедшими навстречу друг другу с обоих концов. Но линию они не выдержали, и, когда проспект в 1715 году был завершён, в месте их встречи образовался заметный излом.<sup>24</sup>

## 2

Шереметевский дворец на Фонтанке - один из легендарных символов петербургской традиции. Жители этого города зовут его просто **Фонтанным домом**. Поэтесса Анна Ахматова, жившая там - с перерывами - в квартире флигеля с 1926 по 1952 год, воспринимала его как драгоценное внутреннее пространство, которое она делила с духами великих художников и поэтов прошлого. Пушкин, Крылов, Тютчев, Жуковский - все они здесь бывали.

Особенных претензий не имею  
Я к этому сиятельному дому,  
Но так случилось, что почти всю жизнь  
Я прожила под знаменитой кровлей  
Фонтанного Дворца... Я нищей  
В него вошла и нищей выхожу...<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Journey for Our Time, с. 97.

<sup>22</sup> Цит. по: Н. П. Анциферов, Душа Петербурга (Петроград, 1922), с. 98.

<sup>23</sup> Hughes, Russia in the Age of Peter the Great, с. 222.

<sup>24</sup> Петербург и другие новые российские города XVIII — первой половины XIX веков (Москва, 1995), с. 168.

<sup>25</sup> «Осколки» (1952), в кн.: The Complete Poems of Anna Akhmatova, пер. J. Hemschemeyer (Edinburgh, 1992), с. 701

История этого дворца - своего рода микрокосм петровского замысла: пересадить западную культуру на русскую почву. Он был построен на заболоченном участке, пожалованном в 1712 году царём Борису Шереметеву, фельдмаршалу петровской армии при Полтаве. Тогда это место находилось на окраине Петербурга, и окружавшие его леса придавали дворцу почти сельский характер. Петров дар был лишь одним из нескольких пожалований, сделанных выдающимся слугам государства. Им было велено возводить на стороне Фонтанки дворцы европейского образца с правильными фасадами - как часть общего царского плана по застройке Петербурга. По преданию, в 1712 году земля здесь пустовала. Однако Ахматова полагала, что прежде на этом месте стоял шведский хутор, поскольку различала дубы, восходившие к допетровским временам.<sup>26</sup>

К началу XVIII века род Шереметевых уже давно утвердился как чрезвычайно богатый клан, тесно связанный с двором. Находясь в дальнем родстве с Романовыми, Шереметевы были вознаграждены огромными земельными владениями за верную службу правящему дому - как военачальники и дипломаты. Борис Шереметев был давним сподвижником Петра. В 1697 году он сопровождал царя в его первом путешествии по Европе, а затем остался там русским послом в Польше, Италии и Австрии. Ветеран войн со шведами, он в 1705 году стал первым в России официально пожалованным графом - титулом, который Пётр заимствовал из Европы как часть своей кампании по вестернизации русской аристократии. Борис был последним из старых бояр - ведущих знатных людей Московии, чьё богатство и власть проистекали из царской милости; к концу петровского царствования они почти исчезли, уступив место новой титулованной знати. В России не было дворянства в западном смысле - независимого класса землевладельцев, способного служить противовесом царской власти. С XVI века государство упразднило полуфеодалные права местных князей и превратило всех в дворян, то бишь в слуг двора. Московское государство мыслилось как вотчина, принадлежащая царю на правах личного владения, а дворянин юридически определялся как «холоп» государя. *[Даже в XIX веке дворяне всех чинов, включая графов и баронов, были обязаны завершать свои письма к царю установленной формулой: «Ваш покорный холоп».]* За службу он получал землю и крестьян, но не как безусловную, аллодиальную собственность, как на Западе, а лишь при условии, что продолжит служить царю. Малейшее подозрение в нелояльности могло повлечь разжалование и потерю имений.

До XVIII века в России не существовало больших дворянских дворцов. Большинство царских служилых людей жило в деревянных домах, ненамного больше крестьянских изб, с простой мебелью и глиняной либо деревянной посудой. По свидетельству Адама Олеария, посланника герцога Гольштейнского в Московию в 1630-х годах, немногие русские вельможи имели перины; вместо того они «лежат на лавках, покрытых подушками, соломой, рогожами или одеждой; зимой спят на плоских печках... вместе со своими

---

<sup>26</sup> Б. М. Матвеев, А. В. Краско, Фонтанный дом (С.-Петербург, 1996), с. 16.

слугами... курами и свиньями».<sup>27</sup> Дворянин редко навещал свои многочисленные поместья. Постоянно посылаемый из одного конца обширной царской державы в другой, он не имел ни времени, ни желания пускать корни в одном месте. Он смотрел на свои владения как на источник дохода, который можно легко обменять или продать. Так, например, прекрасное имение Ясная Поляна близ Тулы в XVII и начале XVIII века сменило владельцев более двадцати раз. Оно проигрывалось в карты и пропивалось, продавалось разным людям одновременно, закладывалось и перезаклаживалось, передавалось в счёт долгов и выменивалось, пока после долгих тяжб, необходимых для урегулирования всех вопросов собственности, не было куплено в 1760-х годах родом Волконских и затем, по материнской линии, не перешло к писателю Толстому.<sup>28</sup> Из-за этой постоянной текучести дворяне почти не вкладывались в землю по-настоящему: не было ни общего стремления развивать поместья и возводить дворцы, ни того, что происходило в Западной Европе с Средних веков, - постепенной концентрации семейных владений в одной местности, передачи собственности из поколения в поколение и установления прочных связей с местным сообществом.



Одежда москвитян в семнадцатом веке. Гравюра 1669 г.

Культурный уровень московских бояр в XVII веке заметно отставал от уровня европейской знати. Олеарий относил их к «варварам... [с] грубыми понятиями о высоких естественных науках и искусствах».<sup>29</sup> Доктор Коллинз жаловался, что «они не умеют есть варёный горох и морковь, а, подобно свиньям, едят их вместе со стручками и шелухой».<sup>30</sup> Эта отсталость

<sup>27</sup> The Travels of Olearius in Seventeenth-Century Russia, под ред. и в пер. S. Baron (Stanford, 1967), с. 155.

<sup>28</sup> Ясная Поляна. Путеводитель (Москва—Ленинград, 1928), с. 10–12.

<sup>29</sup> The Travels of Olearius in Seventeenth-Century Russia, с. 131.

<sup>30</sup> S. Collins, The Present State of Russia: In a Letter to a Friend at London (London, 1671), с. 68.

отчасти была следствием монгольского владычества над Русью примерно с 1230 года до середины XV века. Татары оставили глубокий след в боярских обычаях и навыках повседневной жизни. На протяжении более чем трёхсот лет - то есть в эпоху Ренессанса на Западе - Россия была отрезана от европейской цивилизации. Страна, вышедшая из монгольского периода, стала куда более замкнутой, чем была в начале XIII века, когда Киевская Русь - рыхлая конфедерация княжеств, составлявшая первое русское государство, - находилась в тесной связи с Византией. Старые княжеские роды были подорваны и поставлены в более зависимое положение по отношению к Московскому государству, чья экономическая и военная мощь стала ключом к освобождению Руси от монгольских ханов. Русский дворянин московской эпохи (ок. 1550–1700) не был землевладельцем в европейском смысле. Он был слугой короны. В материальной культуре его мало что отличало от простого народа. Одевался он, как купец, - в полуазиатский кафтан и меховую шубу. Управлял семьёй, как купец и крестьянин, по патриархальным правилам **Домостроя** - свода XVI века, учившего русских, как держать дом в узде Библией и берёзовой розгой. Манеры русского дворянина были притчей во языцех своей грубостью. Даже такие магнаты, как Борис Шереметев, временами вели себя как пьяные невежи. Во время поездки царя Петра в Англию его свита жила на вилле мемуариста Джона Ивлина в Сэйс-Корте, в Кенте. Ущерб, причинённый за три месяца их пребывания, оказался столь велик - были изрыты газоны, сорваны занавеси, сломана мебель, семейные портреты использовались в качестве мишеней, - что Ивлин был вынужден предъявить русскому двору большой счёт.<sup>31</sup> Большинство знати не умело читать, а многие не могли даже сложить простые числа.<sup>32</sup> Мало путешествуя и почти не соприкасаясь с европейцами, которых принуждали селиться в особой слободе в Москве, дворянин относился с подозрением ко всему новому и чужеземному. Его жизнь регулировалась архаическими обрядами Церкви - вплоть до календаря, который вёл счёт лет от условного сотворения мира, то есть от рождения Адама, в 5509 году до Рождества Христова. [*Пётр Великий ввёл западную систему летосчисления в 1700 году. Однако Россия продолжала придерживаться юлианского календаря - отстававшего на тринадцать дней от григорианского, которым пользовалась остальная Европа, - вплоть до 1918 года. В этом смысле императорская Россия всегда отставала от Запада во времени.*]

С петровским преобразованием общества дворянин стал орудием, а его дворец - ареной приобщения России к европейским формам жизни. Его дворец был гораздо большим, чем просто знатной резиденцией, а его усадьба - чем просто местом удовольствия или хозяйственной единицей: она становилась культурным центром своей округи.

---

<sup>31</sup> P. Roosevelt, *Life on the Russian Country Estate: A Social and Cultural History* (New Haven, 1995), с. 12.

<sup>32</sup> Н. Чечулин, *Русское провинциальное общество во второй половине XVIII века* (С.-Петербург, 1889), с. 35.

Пётр заложил основы современного абсолютистского, то есть европейского, государства, когда превратил всё дворянство в служилое сословие короны. Старый боярский класс обладал определёнными правами и привилегиями, вытекавшими из его попечения о земле и крестьянах, - существовала Боярская дума, утверждавшая царские указы, пока в 1711 году её не сменил Сенат. Но новая аристократия Петра определялась исключительно своим положением на гражданской и военной службе, и её права и преимущества устанавливались соответственно. Пётр ввёл *Табель о рангах*, упорядочившую дворян не по происхождению, а по должности, и позволившую простолюдинам получать дворянство за службу государству. Это почти военное построение дворянского сословия оказало глубокое и долговременное влияние на весь его образ жизни. Как знают читатели Гоголя, русский дворянин был одержим чином. Каждый ранг, а в петровской Табели их было четырнадцать, имел свой мундир. Продвижение от белых брюк к чёрным, перемена красной ленты на голубую, серебряного шитья на золотое или даже простое прибавление одного галуна становились ритуальными событиями огромной важности в упорядоченной жизни дворянина. Каждому рангу соответствовал свой титул и своя форма обращения: «Ваше высокопревосходительство» - для двух высших рангов; «Ваше превосходительство» - для третьего и четвёртого; и так далее вниз по лестнице. Существовал строгий и сложный кодекс этикета, предписывавший, как дворяне одного ранга должны обращаться к представителям других рангов, а также к тем, кто старше или моложе их по возрасту. Старший дворянин, пишущий младшему, мог подписаться одной фамилией; младший же в ответ обязан был присовокупить к фамилии свой титул и чин, и пренебрежение этим считалось оскорблением, способным привести к скандалу и дуэли.<sup>33</sup> Этикет также требовал, чтобы чиновник отдавал визиты в дом своего начальника в именины и дни рождения членов его семьи, равно как и во все церковные праздники. На балах и общественных собраниях в Петербурге считалось грубейшей ошибкой, если молодой человек оставался сидеть, пока старшие стояли. Потому младшие офицеры в театре нередко стояли в проходах - на случай, если во время спектакля войдёт старший по чину. Считалось, что офицер всегда находится при исполнении. Г. А. Римский-Корсаков (дальний предок композитора) в 1810 году был изгнан из гвардии за то, что на ужине после бала расстегнул верхнюю пуговицу мундира.<sup>34</sup> Чин давал и весьма ощутимые материальные преимущества. На почтовых станциях лошадей отпускали строго в зависимости от статуса путешественников. На банкетах блюда сперва подавались гостям высших чинов, сидевшим с хозяевами в верхней части русского П-образного стола, и лишь потом - тем, кто занимал нижние места. Если наверху желали добавки, нижнему концу стола могли уже не подать ничего. Однажды князь Потёмкин пригласил к себе на обед какого-то мелкого дворянина и посадил его в самом конце стола.

---

<sup>33</sup> Я. Толмачев, *Военное красноречие, основанное на общих началах словесности*, ч. 2 (С.-Петербург, 1825), с. 120.

<sup>34</sup> Е. Лаврентьева, *Светский этикет пушкинской поры* (Москва, 1999), с. 23, 25.

После обеда он спросил его, понравилось ли ему угощение. «Чрезвычайно, ваше превосходительство, - отвечал тот. - Я всё видел».<sup>35</sup>

Шереметевы чрезвычайно быстро поднялись на самую вершину этой новой социальной иерархии. Когда в 1719 году Борис Шереметев умер, царь сказал его вдове, что будет «как отец» его детям. Пётр Шереметев, единственный уцелевший сын, воспитывался при дворе, где стал одним из немногих избранных товарищей наследника престола - Петра II.<sup>36</sup> После юношеской службы в гвардии Шереметев стал камергером императрицы Анны, а затем и императрицы Елизаветы. При Екатерине Великой он сделался сенатором и был первым избранным губернским предводителем дворянства. В отличие от прочих придворных любимцев, взлетающих и падающих с переменой государя, Шереметев удерживался на службе при шести последовательных царствованиях. Семейные связи, покровительство влиятельного царедворца князя Трубецкого, а также близость к графу Никите Панину, дипломатическому советнику Екатерины, уберегали его от того, чтобы стать жертвой каприза очередного монарха. Он был одним из первых русских дворян, ставших независимыми в европейском смысле.

Немалую роль в этой новой уверенности играло фантастическое богатство рода Шереметевых. Обладая землёй свыше 800 000 гектаров и более чем 200 000 «ревизских душ» (что означало, вероятно, около миллиона крепостных на деле), к моменту смерти Петра в 1788 году Шереметевы были, с большим отрывом, крупнейшими землевладельцами в мире. В денежном отношении, с годовым доходом около 630 000 рублей (63 000 фунтов стерлингов) в 1790-х годах, они были не менее могущественны и даже заметно богаче величайших английских магнатов - герцогов Бедфорда и Девоншира, графа Шелберна и маркиза Рокингема, чей годовой доход составлял примерно по 50 000 фунтов.<sup>37</sup> Как и большинство аристократических состояний, состояние Шереметевых происходило главным образом из огромных императорских пожалований земли и крестьян в награду за государственную службу. Все богатейшие династии аристократии стояли близ вершины царского государства в эпоху его великого территориального расширения между XVI и XVIII веками и были соответственно награждены роскошными наделами плодородной земли на юге России и Украины. Таковы были Шереметевы, Строгановы, Демидовы, Давыдовы, Воронцовы и Юсуповы. Подобно всё большему числу магнатов XVIII века, Шереметевы умели извлекать огромную прибыль и из торговли. В том столетии русская экономика росла с поразительной быстротой, и как владельцы обширных лесных угодий, бумажных мельниц и фабрик, лавок и городской недвижимости Шереметевы получали от

---

<sup>35</sup> Ю. Лотман, *Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX века* (С.-Петербург, 1994), с. 31.

<sup>36</sup> *Жизнь, анекдоты, военные и политические деяния российского генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева* (С.-Петербург, 1808), с. 182.

<sup>37</sup> В. Станюкевич, *Бюджет Шереметевых (1798–1910)* (Москва, 1927), с. 19–20; G. Mingay, *English Landed Society in the Eighteenth Century* (London, 1963), с. 10 и сл.

этого роста колоссальные доходы. К концу XVIII века они были почти вдвое богаче любой другой русской дворянской семьи, если не считать Романовых. Отчасти столь необычайное богатство объяснялось тем, что, в отличие от большинства русских династий, дробивших наследство между всеми сыновьями, а порой и дочерьми, Шереметевы передавали львиную долю имущества старшему наследнику мужского пола. Брак также сыграл решающую роль в их восхождении к вершинам богатства - прежде всего блистательный союз, заключённый в 1743 году между Петром Шереметевым и Варварой Черкасской, наследницей другого чрезвычайно богатого рода, через которую Шереметевы приобрели прекрасное Останкино под Москвой. На несметные средства, потраченные во второй половине XVIII века их сыном Николаем Петровичем, первым великим импресарио русского театра, Останкино стало драгоценнейшей жемчужиной в шереметевской короне.

На свои дворцы Шереметевы тратили громадные суммы - зачастую куда больше, чем зарабатывали, так что к середине XIX века накопили долгов на несколько миллионов рублей.<sup>38</sup> Расточительство было особой слабостью русской аристократии. Оно происходило частью от легкомыслия, частью же от привычек сословия, чьё богатство пришло без большого труда и с фантастической быстротой. Значительная доля этого богатства имела форму императорских пожалований, предназначенных для создания великолепного двора, способного соперничать с Версалем или Потсдамом. Чтобы преуспеть в этой дворцово-центристской культуре, дворянину требовался поистине сказочный образ жизни. Владение роскошным дворцом, заполненным привозными произведениями искусства и мебелью, устройство пышных балов и банкетов на европейский лад становились существенным признаком ранга и статуса, способным снискать милость и продвижение при дворе.

Значительная часть шереметевского бюджета уходила на содержание огромной дворни. Семья держала под ливреей целое войско. В одном только Фонтанном доме служило 340 человек - достаточно, чтобы поставить камердинера у каждой двери; а во всех домах, вместе взятых, Шереметевы держали далеко за тысячу слуг.<sup>39</sup> Такие огромные свиты были роскошью страны, имевшей столь неисчислимое множество крепостных. Даже самые пышные английские дома по сравнению с этим располагали ничтожным числом слуг: у Девонширов в Чатсуорте в 1840-х годах постоянно проживало всего восемнадцать человек прислуги.<sup>40</sup> Иностранцы неизменно поражались множеству слуг в русских дворцах. Даже граф Сегюр, французский посол, с изумлением отмечал, что в частной резиденции могло служить до пятисот человек.<sup>41</sup> Владение большим количеством прислуги было одной из

---

<sup>38</sup> Станюкевич, Бюджет Шереметевых, с. 17.

<sup>39</sup> В.С.Дедюхина, «К вопросу о роли крепостных мастеров в истории строительства дворянской усадьбы XVIII в. (на примере Кускова и Останкина)», Вестник Московского государственного университета (История), сер. 8, № 4 (1981), с. 85.

<sup>40</sup> Станюкевич, Бюджет Шереметевых, с. 10; Матвеев и Краско, Фонтанный дом, с. 55; B. and J. Harley, A Gardener in Chatsworth: Three Years in the Life of Robert Aughtie (1848-1850) (n.p., 1992).

<sup>41</sup> Memoirs of Louis Philippe Comte de Ségur, ed. E. Cruickshanks (London, 1960), с. 238.

характерных слабостей русской аристократии - и, возможно, одной из причин её окончательной гибели. Даже средние помещичьи семьи в провинции держали штаты, явно превышавшие их возможности. Дмитрий Свербеев, мелкий чиновник из Московской губернии, вспоминал, что в 1800-х годах его отец держал английскую карету с шестью датскими лошадьми, четырьмя кучерами, двумя форейторами и двумя лакеями в ливреях - исключительно ради ежегодной короткой поездки в Москву. В имении же было два повара, камердинер с помощником, дворецкий и четыре швейцара, личный парикмахер и два портных, с полдюжины горничных, пять прачек, восемь садовников, шестнадцать кухонных работников и множество другой челяди.<sup>42</sup> В доме Селивановых, средней дворянской семьи в Рязанской губернии, в 1810-х годах домашний уклад по-прежнему определялся культурой двора, при котором их предок когда-то служил в 1740-х. Они держали огромный штат - восемьдесят лакеев в тёмно-зелёных мундирах, в напудренных париках и в особых башмаках, сплетённых из конского волоса; из комнаты им полагалось выходить пятысь назад.<sup>43</sup>

Одежда в доме Шереметевых была ещё одной бездонной статьёй расхода. Николай Петрович, как и его отец, был страстным последователем континентальной моды и тратил эквивалент нескольких тысяч фунтов в год на привозные ткани для своих туалетов. Опись его гардероба 1806 года показывает, что он владел не менее чем тридцатью семью различными видами придворного мундира, «все шитые золотом, все тёмно-зелёных или тёмно-коричневых кашемировых или триковых цветов, бывших тогда в моде». Там значилось: десять комплектов однобортных фракных одежд и восемнадцать двубортных; пятьдесят четыре сюртука; две белые меховые шубы - одна из белого медведя, другая из белого волка; шесть коричневых меховых шуб; семнадцать шерстяных курток; сто девятнадцать пар панталон (из них пятьдесят три белых и сорок восемь чёрных); четырнадцать шёлковых ночных халатов; два домино из розовой тафты для маскарадов; два венецианских костюма из чёрной тафты на синей и чёрной атласной подкладке; тридцать девять французских шёлковых кафтанов, расшитых золотой и серебряной нитью; восемь бархатных кафтанов (один - лиловый с жёлтыми пятнами); шестьдесят три жилета; сорок два шейных платка; восемьдесят две пары перчаток; двадцать три треуголки; девять пар сапог; и свыше шестидесяти пар туфель.<sup>44</sup>

Приём гостей тоже обходился недёшево. Дом Шереметевых сам по себе был маленьким двором. Две главные московские резиденции - Останкино и усадьба Кусково - славились своими роскошными увеселениями: концертами, операми, фейерверками и балами на несколько тысяч гостей. Гостеприимству Шереметевых, казалось, не было предела. В Фонтанном доме, где старинный русский дворянский обычай держать двери открытыми во

---

<sup>42</sup> Записки Дмитрия Николаевича Свербеева, в 2 т. (С.-Петербург, 1899), т. 1, с. 48.

<sup>43</sup> В. В. Селиванов, Сочинения (Владимир, 1901), с. 25, 35.

<sup>44</sup> М. Д. Приселков, «Гардероб вельможи конца XVIII — начала XIX в.», в кн.: Записки историко-бытового отдела Государственного Русского музея, I (Ленинград, 1928), с. 107–115.

время трапез соблюдался с неистощимой щедростью, за обедом и ужином нередко бывало по пятьдесят человек. Писатель Иван Крылов, часто там обедавший, вспоминал, что среди гостей был один человек, который ел у Шереметевых годами, и никто так и не узнал, кто он такой. Выражение «на шереметевский счёт» вошло в язык в значении «даром, за чужой счёт».<sup>45</sup>

Почти всё в доме Шереметевых ввозилось из Европы. Даже самые простые вещи, в изобилии имевшиеся в самой России, - дубовый лес, бумага, зерно, грибы, сыр и масло, - считались предпочтительными, хотя и стоили дороже, если были иностранными. Сведения о заграничных покупках Петра Шереметева за 1770–1788 годы сохранились в архивах. Он закупал товары у иностранных купцов в Петербурге или через особых агентов, которым поручалось ввозить для него необходимые вещи. Платья, драгоценности и ткани шли прямо из Парижа, обычно от портного, обслуживавшего Версаль; вина прибывали из Бордо. Шоколад, табак, бакалея, кофе, сладости и молочные продукты - из Амстердама; пиво, собаки и экипажи - из Англии. Вот один из шереметевских закупочных списков:

кафтан из пуховой материи  
камзол, шитый золотом и жемчугом  
кафтан и штаны из шёлка цвета *rise* с жёлтым камзолом  
кафтан из красного хлопка с синей подкладкой по обеим сторонам  
синий шёлковый камзол, шитый золотом  
кафтан и штаны из ткани с камзолом из малинового шёлка, шитого золотом и серебром  
кафтан и штаны шоколадного цвета с зелёным велюровым камзолом  
чёрный бархатный сюртук  
бархатные фалды с крапом  
фалды с двадцатью четырьмя серебряными пуговицами  
два пикейных камзола, шитых золотом и серебром  
семь аршин французского шёлка на камзолы  
двадцать четыре пары кружевных манжет к ночным рубашкам  
двенадцать аршин чёрной материи на штаны и три аршина чёрного бархата  
разные ленты  
150 фунтов лучшего табака  
60 фунтов простого табака  
36 банок помады  
6 дюжин бутылок капиллярного сиропа  
золотая табакерка  
2 бочки чечевицы  
2 фунта ванили  
60 фунтов трюфелей в масле

---

<sup>45</sup> Н. Синдаловский, Петербургский фольклор (С.-Петербург, 1994), с. 149, 281.

200 фунтов итальянских макарон  
240 фунтов пармезана  
150 бутылок анчоусов  
12 фунтов кофе с Мартиники  
24 фунта чёрного перца  
20 фунтов белого перца  
6 фунтов кардамона  
80 фунтов изюма  
160 фунтов смородины  
12 бутылок английской сухой горчицы  
различные сорта ветчины, бекона, колбас  
формы для бланманже  
600 бутылок белого бургундского  
600 бутылок красного бургундского  
200 бутылок игристого шампанского  
100 бутылок негазированного шампанского  
100 бутылок розового шампанского.<sup>46</sup>

Если Борис Шереметев был последним из старых бояр, то его сын Пётр был, вероятно, первым - и, во всяком случае, самым блестящим - из русских европейских джентльменов. Ничто не свидетельствовало яснее о переходе дворянина от московского боярина к русскому аристократу, чем строительство дворца в европейском стиле. Под его великолепной кровлей дворец собирал воедино все европейские искусства. Со своим салоном и бальным залом он был подобен театру, где члены аристократии могли разыгрывать свои позы, любезности и европейские манеры. Но дворец был не только зданием и не только общественным пространством. Он мыслился как сила цивилизующая. Это был оазис европейской культуры в пустыне русской крестьянской почвы, и его архитектура, картины и книги, крепостные оркестры и оперы, пейзажные парки и образцовые фермы должны были служить средством общественного просвещения. В этом смысле дворец был отражением самого Петербурга.

Фонтанный дом, как и Россия, поначалу был деревянным - одноэтажной дачей, спешно выстроенной Борисом Шереметевым в последние годы его жизни. В 1740-х годах Пётр перестроил и расширил дом уже в камне - в начале той лихорадочной моды на дворцовое строительство в Петербурге, которая началась после того, как императрица Елизавета велела возвести там свои великие императорские резиденции: Летний дворец на Фонтанке (1741–1744), Большой дворец в Царском Селе (1749–1752) и тот Зимний дворец (1754–1762), который мы знаем сегодня. Все эти барочные шедевры были созданы итальянским

---

<sup>46</sup> Л. Д. Беляев, «Заграничные закупки графа П. Б. Шереметева за 1770–1788 гг.», в кн.: Записки историко-бытового отдела Государственного Русского музея, вып. 1 (Ленинград, 1928), с. 86..

архитектором Бартоломео Растрелли, приехавшим в Россию шестнадцатилетним юношей. Растрелли довёл до совершенства синтез итальянского и русского барокко, столь характерный для Петербурга. Этот основной стиль - отличающийся от своих европейских аналогов огромностью масштаба, пышностью форм и смелостью красок, - наложил печать и на Фонтанный дом, который, возможно, был спроектирован самим Растрелли; во всяком случае, строительством руководил главный помощник Растрелли в Царском Селе - Савва Чевакинский, мелкий дворянин из Твери, окончивший Морскую академию и ставший первым русским архитектором заметной величины. Классический фасад был богато украшен львиными масками и воинскими эмблемами, возвещавшими славу рода Шереметевых; эта же тема продолжалась в железных оградах и воротах. За дворцом раскинулись обширные сады, напоминавшие царскосельские: аллеи, уставленные мраморными статуями из Италии, английский грот, китайский павильон и - уже с более игривым оттенком - фонтаны, переключавшиеся с именем дома.<sup>47</sup>

Внутри дом представлял собой типичное собрание европейской скульптуры, барельефов, мебели и убранства, отражавшее вкус к дорогостоящей роскоши. Обои (из Франции) как раз входили в моду и, по-видимому, впервые в России были использованы именно в Фонтанном доме.<sup>48</sup> Пётр Шереметев был человеком моды и почти каждый год заново отделывал комнаты. На верхнем этаже находился парадный приёмный зал, служивший для балов и концертов: с паркетным полом и высоким расписным потолком; с одной стороны его тянулись до пола окна, выходившие на воду, а с другой - огромные зеркала с позолоченными канделябрами, чей чудесный эффект заключался в том, что зал буквально заливало необыкновенным светом. В особом крыле помещалась часовня с ценными иконами; на верхнем этаже - парадная галерея; музей редкостей; библиотека почти в 20 000 томов, большей частью французских; галерея семейных и царских портретов, написанных крепостными художниками; и собрание европейской живописи, которую Шереметевы приобретали десятками. В этих галереях находились произведения Рафаэля, Ван Дейка, Корреджо, Веронезе, Верне и Рембрандта. Сегодня они находятся в Эрмитаже, в Зимнем дворце.<sup>49</sup>

Не довольствуясь одним дворцом, Шереметевы возвели ещё два - ещё более дорогостоящих - в Кускове и Останкине, на западной окраине Москвы. Усадьба Кусково к югу от Москвы, хотя и имела сравнительно простой деревянный дом, сообщавший ей сельский облик, была по замыслу своему необычайно амбициозна. Перед домом лежало искусственное озеро, достаточно большое, чтобы на нём можно было устраивать показательные морские сражения для пятидесяти тысяч зрителей; были и эрмитаж, где хранились несколько сотен картин; павильоны и гроты; открытый амфитеатр для летнего сезона; и большой

---

<sup>47</sup> Матвеев и Краско, Фонтанный дом, с. 27, 29, 35-36.

<sup>48</sup> Там же, с. 38.

<sup>49</sup> A. Chenevière, Russian Furniture: The Golden Age, 1780-1840 (New York, 1988), с. 89-93, 122-123; Е. Бескин, Крепостной театр (Москва, 1927), с. 1.

внутренний театр - самый технически совершенный в России к моменту его постройки в 1780-х годах, - вмещавший 150 человек и имевший сцену такой глубины, что на ней можно было производить сложные перемены декораций французской большой оперы.<sup>50</sup> Николай Петрович, доведший шереметевскую оперу до её высшего расцвета, отстроил театр заново уже в Останкине, после того как кусковский зрительный зал сгорел в 1789 году. Останкинский театр был ещё больше кусковского и вмещал 260 зрителей. Его техническое оборудование было несравненно совершеннее: там имелось особое устройство, позволявшее превращать театр в бальный зал - партер просто накрывался полом.



**3. Шереметевский театр в Останкине. Вид со сцены. Партер закрыт настилом, который использовался для балов.**

3

Цивилизация аристократии покоилась на ремесленном труде миллионов крепостных. То, чего России недоставало в технике, она с избытком восполняла неисчерпаемым запасом дешёвой рабочей силы. Многие из того, что и сегодня заставляет путешественника замирать перед блеском и величием Зимнего дворца, - бесконечные наборные паркетные полы и обилие позолоты, затейливая резьба и лепнина, вышивки нитью тоньше человеческого волоса, миниатюрные ларцы со сказочными сценами, выложенными драгоценными камнями, или тончайшие малахитовые мозаики, - всё это плоды многолетнего, безымянного и почти никем не признанного труда неизвестных крепостных мастеров.

Крепостные были необходимы и шереметевским дворцам, и связанным с ними искусствам. Из двухсот тысяч ревизских душ, принадлежавших Шереметевым, ежегодно отбирали несколько сотен человек и обучали их быть художниками, архитекторами и скульпторами, краснодеревцами, декоративными живописцами, позолотчиками, гравёрами, садовниками, театральными машинистами, актёрами, певцами и музыкантами. Многие из этих крепостных отправляли за границу или прикомандировывали ко двору, чтобы они

---

<sup>50</sup> Л. Лепская, Репертуар крепостного театра Шереметевых (Москва, 1996), с. 26, 31, 39; Н. Елизарова, Театры Шереметевых (Москва, 1944), с. 30-32.

совершенствовали своё мастерство. Но там, где не доставало умения, многое достигалось просто числом. В Кускове существовал роговой оркестр, в котором, чтобы не тратить слишком много времени на обучение музыкантов, каждого исполнителя учили извлекать лишь одну-единственную ноту. Число участников зависело от количества различных нот в мелодии; всё их искусство заключалось в том, чтобы взять свою ноту в нужный миг.<sup>51</sup>

Семья Аргуновых сыграла важнейшую роль в развитии русского искусства. Все Аргуновы были крепостными Шереметевых. Архитектор и скульптор Фёдор Аргунов спроектировал и построил главные парадные залы Фонтанного дома. Его брат Иван Аргунов учился живописи у Георга Гроота при императорском дворе и вскоре завоевал себе славу одного из лучших русских портретистов. В 1759 году он написал портрет будущей императрицы Екатерины Великой - редчайшая честь для русского художника в то время, когда двор предпочитал выписывать портретистов из Европы. Павел Аргунов, старший сын Ивана, был архитектором и работал с Кваренги в Останкине и Фонтанном доме. Яков Аргунов, младший сын Ивана, прославился своим портретом императора Александра, написанным в 1812 году. Но самым значительным из трёх братьев Аргуновых был средний - Николай, бесспорно один из лучших русских живописцев XIX века.<sup>52</sup>

Положение крепостного художника было сложным и двусмысленным. Бывали мастера, которых баре высоко ценили и щедро вознаграждали. В шереметевском мире самые большие деньги получали особенно ценные повара и певцы. В 1790-х годах Николай Петрович платил своему повару 850 рублей в год - вчетверо больше, чем получали лучшие повара в английских домах, - а лучшей оперной певице 1500 рублей. Но другие крепостные художники получали гроши: Иван Аргунов, которому было поручено ведать всеми художественными делами Фонтанного дома, имел всего сорок рублей в год.<sup>53</sup> Крепостные художники стояли выше прочей дворни. Они жили в лучших помещениях, получали лучшую пищу, и им иногда позволялось работать на стороне по заказам двора, церкви или других дворянских семей. Но, как и всякий крепостной, они оставались собственностью господина и могли быть наказаны наравне с остальными. Такая зависимость становилась страшным препятствием для тех художников, кто стремился к самостоятельности. Иван Аргунов, как художественный распорядитель Фонтанного дома, отвечал за бесконечные перемены дворцовых интерьеров, за устройство маскарадов и костюмированных балов, за театральные декорации, фейерверки и, вдобавок, за множество мелких домашних поручений. Его собственные творческие замыслы постоянно бросались ради того, чтобы он по барскому зову исполнил какую-нибудь ничтожную обязанность; а если он медлил или не справлялся, граф штрафовал его, а то и велел бить. Иван умер крепостным. Но его дети уже получили свободу. По завещанию Николая Петровича двадцать два дворовых человека, в их

---

<sup>51</sup> Е. Бескин, Крепостной театр (Москва, 1927), с. 13-14

<sup>52</sup> В. К. Станюкевич, «Крепостные художники Шереметевых. К двухсотлетию со дня рождения Ивана Аргунова», в кн.: Записки историко-бытового отдела, с. 133-165.

<sup>53</sup> С. Д. Шереметев, Отголоски XVIII века, вып. 11: Время императора Павла, 1796-1800 (Москва, 1905), с. 15, 142, 293.

числе Николай и Яков Аргуновы, были отпущены на волю в 1809 году. Девять лет спустя Николай Аргунов был избран в Императорскую академию художеств - первым русским художником крепостного происхождения, удостоенным государственной чести.<sup>54</sup>



**Портрет Прасковьи Ивановны Жемчуговой-Шереметевой кисти Николая Аргунова**

Один из самых памятных портретов Аргунова изображает другую бывшую крепостную Шереметевых - графиню Прасковью Шереметеву. Он написал её в красной шали, с сияющей миниатюрой её мужа, графа Николая Петровича Шереметева, на шее (илл. 1). Во время создания этого портрета, в 1802 году, брак графа с его бывшей крепостной, примадонной его оперы, всё ещё скрывался от общества и двора. Так продолжалось до самой её смерти. В этом пророческом и трогательном портрете Аргунов передал всю трагедию их судьбы. Это необыкновенная история, многое говорящая и о препятствиях, стоявших перед творческим крепостным, и о нравах общества.

Прасковья родилась в семье крепостных в шереметевском имении Юхоть в Ярославской губернии. Её отец и дед были кузнецами, и потому семья получила фамилию Кузнецовы, хотя самого Ивана, её отца, все крепостные звали просто «Горбуном». В середине 1770-х годов Иван стал главным кузнецом в Кускове, где семье отвели отдельный деревянный дом с большим наделом земли позади. Своих первых двух сыновей он отдал учиться портняжному делу, третий стал музыкантом в шереметевском оркестре. Прасковья же уже тогда выделялась красотой и голосом, и Пётр Шереметев велел готовить её для оперы. Она изучила итальянский и французский, на обоих языках говорила и писала свободно. Её обучали пению, актёрскому искусству и танцу лучшие учителя страны. В 1779 году, одиннадцати лет от роду, она впервые вышла на сцену в роли служанки в русском первом представлении комической оперы Андре Гретри *L'Amitié à l'épreuve*, а уже через год

---

<sup>54</sup> Там же, с. 161.

получила свою первую главную роль - Белинды в *La Colonie* Антонио Саккини.<sup>55</sup> С этого времени она почти всегда исполняла ведущие женские партии. У Прасковьи было прекрасное сопрано, отличавшееся диапазоном и чистотой звучания. Взлёт шереметевской оперы к первенству в России в последние два десятилетия XVIII века был тесно связан с её славой. Она была первой настоящей русской суперзвездой.

История любви Прасковьи и графа словно сошла прямо со сцены комической оперы. Театр XVIII века был полон сюжетов о служанках, влюблённых в молодых и блестящих дворян. Сама Прасковья играла роль молодой крепостной девушки в *Анюта* - чрезвычайно популярной опере, где скромное происхождение прелестной героини мешает ей выйти за князя. Николай Петрович, правда, не был ни красив, ни блестящ. Старше Прасковьи почти на двадцать лет, он был невысок, полноват и страдал слабым здоровьем, которое делало его склонным к меланхолии и ипохондрии.<sup>56</sup> Но он был романтиком, человеком тонкой художественной чувствительности, и с Прасковьей его соединяла любовь к музыке. Видя, как она росла на глазах в усадьбе, а потом расцвела на сцене его оперы, он разглядел в ней не только телесную красоту, но и духовные качества. Со временем он полюбил её. «Я почувствовал к ней самые нежные и страстные чувства, - писал он в 1809 году, -

но я испытал своё сердце, желая понять, ищет ли оно чувственных наслаждений или иных радостей, улаждающих ум и душу помимо красоты. Видя, что оно ищет скорее телесных и духовных радостей, нежели одной дружбы, я долго вглядывался в качества предмета моей любви и нашёл в ней добродетельный ум, искренность, человеколюбие, постоянство и верность. Я нашёл приверженность святой вере и искреннее почтение к Богу. Эти качества пленили меня более, чем её красота, ибо они сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки».<sup>57</sup>

Но началось всё далеко не так возвышенно. Молодой граф любил охоту и погоню за девушками; и до смерти своего отца в 1788 году, когда на него перешло управление семейными владениями, Николай Петрович проводил большую часть времени именно в этих чувственных увлечениях. Молодой барин нередко пользовался своими «правами» по отношению к крепостным девушкам. Днём, пока они работали, он обходил девичьи комнаты в усадьбе и бросал в окно выбранной им девушки платок. Ночью он являлся к ней, а уходя, просил вернуть его платок. Однажды летним вечером 1784 года Прасковья гнала к ручью отцовских двух коров, когда на неё набросились собаки. Граф, возвращавшийся верхом после охоты, отозвал собак и подъехал к ней. Он слышал, что отец намерен выдать её замуж за местного лесничего. Ей было шестнадцать лет - для крепостной девушки возраст уже немалый. Граф спросил, так ли это, и, услышав утвердительный ответ, сказал, что не

---

<sup>55</sup> Лепская, Репертуар крепостного театра Шереметевых, с. 24.

<sup>56</sup> См. медицинские заключения в: Лепская, Репертуар крепостного театра Шереметевых, с. 21-29.

<sup>57</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 68, л. 3.

допустит такого брака. «Ты не для этого родилась! Сегодня ты крестьянка, а завтра станешь барыней!» С этими словами он повернул коня и уехал.<sup>58</sup>

Трудно точно сказать, когда граф и Прасковья фактически стали жить как муж и жена. Сначала она была лишь одной из нескольких певиц, пользовавшихся у барина особым благоволением. Своих любимых певиц и танцовщиц он называл по названиям драгоценных камней - «Изумруд» (Ковалёва), «Гранат» (Шлыкова), «Жемчуг» (Прасковья) - и осыпал дорогими подарками и наградами. Этих «девиц моего дома», как он называл их в письмах к своему приказчику, постоянно держали при графе. Они сопровождали его зимой в Петербург, а летом возвращались вместе с ним в Кусково.<sup>59</sup> Всё говорит о том, что это был графский гарем - не в последнюю очередь то обстоятельство, что незадолго до брака с Прасковьей он выдал остальных замуж и дал им всем приданое.<sup>60</sup>

Крепостные гаремы в XVIII и начале XIX века были в большой моде. Среди русских дворян обладание большим гаремом, как ни странно, считалось признаком европейских манер и цивилизованности. Одни гаремы, как у Шереметева, держались на подарках и покровительстве; другие же основывались на полной власти помещика над собственными крепостными. Сергей Аксаков в своей *Семейной хронике* (1856) рассказывает о дальнем родственнике, который устроил гарем из крепостных девушек; всякий, кто пытался воспротивиться, даже собственная жена, подвергался побоям или заточению.<sup>61</sup> Подобных примеров множество в мемуарной литературе XIX века.<sup>62</sup> Самый подробный и поразительный из таких рассказов принадлежит Януарию Неверову, отец которого был управляющим в имении восьмидесятилетнего помещика Петра Кошкарёва. Двенадцать или пятнадцать самых красивых молодых крепостных девушек были строго отделены в особом женском покое его дома и отданы под надзор главной ключницы, прежней кошкарёвской любовницы Натальи Ивановны, родившей ему семерых сыновей. Внутри гарема находилась господская спальня. Когда барин ложился, все его девушки входили к нему, вместе с ним читали молитвы и стлали свои постели вокруг его ложа. Одна из них раздевала хозяина, помогала ему лечь и читала всем сказку. Затем они оставались на ночь вместе. Утром Кошкарёв одевался, молился, пил чай, курил трубку, а затем начинались «наказания». Непокорных девушек, а порой просто тех, кого ему хотелось наказать, секли берёзой или били по лицу; других заставляли ползать по полу. Это садистское насилие было для Кошкарёва отчасти разновидностью сексуальной игры, но вместе с тем служило средством утешения и дисциплины. Одна девушка, обвинённая в тайной связи с дворовым

---

<sup>58</sup> П. Бессонов, Прасковья Ивановна Шереметева, ее народная песня и родное ее Кусково (Москва, 1872), с. 43, 48; К. Бестужев, Крепостной театр (Москва, 1913), с. 62-63.

<sup>59</sup> Шереметев, Отголоски XVIII века, вып. 11, с. 102, 116, 270. См. также: Roosevelt, Life on the Russian Country Estate, с. 108.

<sup>60</sup> Там же, с. 283.

<sup>61</sup> С. Т. Аксаков, Семейная хроника, пер. М. Beverley (Westport, Conn., 1985), с. 55-62

<sup>62</sup> См., например: Селиванов, Сочинения, с. 37; Н. Д. Башкирцева, «Из украинской старины. Моя родословная», Русский архив (1900), т. 1, № 3, с. 350.

человеком, была на целый месяц закована в колодки. Потом её и её любовника при всей крепостной общине били несколько человек подряд до тех пор, пока оба не рухнули от изнеможения, и несчастных оставили лежать на полу в кровавых лохмотьях. Но рядом с этой жестокостью Кошкарёв старательно заботился о воспитании и «усовершенствовании» своих девушек. Все они умели читать и писать, некоторые - и по-французски; одна из них учила Неверова наизусть *Бахчисарайский фонтан* Пушкина. Их одевали по-европейски, отводили им особые места в церкви, а когда старших девушек в гареме заменяли более молодые, их выдавали за барских охотничьих крепостных - элиту мужской двора - и снабжали приданым.<sup>63</sup>

К началу 1790-х годов Прасковья уже стала для Шереметева негласной женой. Его влекли к ней уже не одни телесные удовольствия, но, как он сам говорил, красота её ума и души. В течение последующих десяти лет граф оставался разрываем между любовью к ней и своим высоким положением в обществе. Он чувствовал, что нравственно неправ не жениться на Прасковье, но его аристократическая гордость не позволяла сделать этот шаг. Браки с крепостными в культе статуса, которым жила русская аристократия XVIII века, были чрезвычайно редки - хотя в XIX веке станут уже сравнительно обычными, - и для столь богатого и знатного человека, как он, казались вовсе невыносимыми. Более того, оставалось неясно, будет ли его наследник считаться законным, если он женится на Прасковье.

Дилемма графа была той самой дилеммой, которая стояла перед дворянами в бесчисленных комических операх. Николай Петрович был особенно восприимчив к культуре сентиментализма, охватившему Россию в последние два десятилетия XVIII века. Многие из произведений, ставившихся им, были вариациями на тему конфликта между общественным обычаем и естественным чувством. Одним из таких спектаклей была *Нанина* Вольтера (1749), где герой, граф Ольбан, влюблённый в свою бедную воспитанницу, вынужден выбирать между собственным сердцем и сословными обычаями, запрещающими ему жениться на девушке низкого происхождения. В конце концов он выбирает любовь. Параллели с собственной жизнью были так очевидны, что Николай Петрович дал роль Нанины Анне Изумрудовой, хотя в то время его главной актрисой была Прасковья<sup>64</sup>. В театре публика сочувствовала неравным влюблённым и рукоплескала основному просветительскому идеалу, лежавшему в основании подобных сочинений: все люди равны. Но в настоящей жизни общество смотрело на это иначе.

Тайная связь с графом ставила Прасковью в почти невыносимое положение. В первые годы их близости она всё ещё оставалась его крепостной и жила среди остальных крепостных в Кускове. Но скрыть истину от дворовых было невозможно: они начали завидовать её привилегированному положению и осыпали её злыми прозвищами. Родные тоже старались воспользоваться её влиянием и проклинали её, когда она не исполняла их мелких просьб к

---

<sup>63</sup> «Записки И. М. Неверова», Русская старина (1883), т. 11, с. 429 и сл. Подробнее о Кошкарове см.: Roosevelt, *Life on the Russian Country Estate*, с. 183-187.

<sup>64</sup> Лепская, Репертуар крепостного театра Шереметевых, с. 37-38.

графу. Сам граф в это время всё ещё подумывал о том, чтобы оставить её. Он говорил ей о долге перед семьёй, о том, что должен жениться на равной по положению, а она старалась скрыть своё мучение, слушала молча и только после его ухода разражалась слезами. Чтобы защитить Прасковью и себя от злоязычия, граф выстроил близ главного дома особое жилище - простую деревянную дачу, куда мог приходиться к ней тайно. Он запретил ей видаться с кем бы то ни было и выходить куда-либо, кроме театра и церкви: чтобы скоротать дни, ей оставалось лишь играть на клавикордах да заниматься рукоделем. Но и это не могло остановить дворовых пересудов, которые дошли до Москвы: люди приезжали поглазеть на её дом, а иной раз даже дразнили «крестьянскую невесту».<sup>65</sup> Для графа этого оказалось достаточно, чтобы покинуть Кусково. Где-то в 1794–1795 годах он перебрался в новый дворец в Останкине, где мог разместить Прасковью в более роскошных и уединённых покоях.

Но и в Останкине положение Прасковьи оставалось крайне тяжёлым. Ненавидимая крепостными, она была и отвергнута обществом. Лишь сила характера позволяла ей сохранять достоинство. Символично, что величайшими её ролями были роли трагических героинь. Самым прославленным её выступлением стала партия Элианы в *Les Mariages Samnites*, поставленной к приезду только что коронованного императора Павла в Останкино в апреле 1797 года.<sup>66</sup> Сюжет этой оперы Гретри словно повторял саму судьбу Прасковьи. В самнитском племени действует закон, запрещающий девушкам обнаруживать чувства к мужчине. Элиана нарушает этот закон и признаётся в любви воину Парменону, который не хочет и не может на ней жениться. Вождь самнитов осуждает её и изгоняет из племени; тогда она переодевается воином и вступает в войско, сражающееся против римлян. Во время битвы неведомый воин спасает жизнь самнитскому вождю. После победы, когда самниты возвращаются домой, вождь велит найти этого неизвестного. И оказывается, что это Элиана. Её героические добродетели наконец покоряют Парменона, и он, вопреки обычаям племени, объявляет о своей любви к ней. Эта роль оказалась последней в жизни Прасковьи.

Незадолго до *Les Mariages* Николай Петрович был призван ко двору императором Павлом. Граф был старым другом государя. Дом Шереметевых на Миллионной, где он вырос, находился в двух шагах от Зимнего дворца, и в детстве граф часто бывал у Павла, который был моложе его на три года и очень его любил. В 1782 году он инкогнито сопровождал будущего императора и его жену за границей. Шереметев был одним из немногих вельмож, ладивших с Павлом, чьи вспышки ярости и пристрастие к дисциплине оттолкнули от него большую часть дворянства. Вступив на престол в 1796 году, Павел назначил Шереметева обер-камергером, главным распорядителем двора. Граф вовсе не тяготел к придворной службе - его тянуло к Москве и к искусству, - но выбора у него не было. Он вернулся в Петербург, в Фонтанный дом. Именно тогда ясно обнаружили первые признаки болезни

---

<sup>65</sup> Бестужев, Крепостной театр, с. 66–70.

<sup>66</sup> Лепская, Репертуар крепостного театра Шереметевых, с. 42; Шереметев, Отголоски XVIII века, вып. 4 (Москва, 1897), с. 12.

Прасковьи. Симптомы не оставляли сомнений: это была чахотка. Её певческая карьера кончилась, и она оказалась затворена в Фонтанном доме, где для неё был специально устроен тайный ряд комнат, совершенно отделённых от парадной и официальной части дворца.

Затворничество Прасковьи в Фонтанном доме было вызвано не одной только болезнью. Слухи о крепостной девушке, живущей во дворце, уже вызвали в обществе скандал. Разумеется, люди «хорошего тона» об этом вслух не говорили - но знали все. Когда граф впервые приехал в Петербург, естественно предполагалось, что он возьмёт жену. «Судя по слухам, - писал ему его друг князь Щербатов, - здешний город уже женил вас с дюжину раз, так что, думаю, мы скоро увидим вас с графиней, чему я чрезвычайно рад».<sup>67</sup> И вот, когда выяснилось, что этот один из самых завидных женихов растратил себя на крестьянку, разочарование аристократии смешалось с раздражением и чувством почти личного оскорбления. Почти изменой казалось уже одно то, что граф живёт с крепостной как муж с женой, - особенно если вспомнить ходившую уже тогда как легенда историю о том, что он однажды отказался от предложения самой императрицы Екатерины Великой устроить его брак с её внучкой, великой княжной Александрой Павловной. Граф оказался изолирован обществом. Род Шереметевых от него отрёкся и погрузился в распри о том, что станет с наследством. Огромные парадные залы Фонтанного дома опустели; друзьями остались лишь верные товарищи детства, вроде князя Щербатова, или художники - поэт Державин и архитектор Кваренги, - сумевшие подняться над сословным снобизмом общества. К их числу принадлежал и император Павел. Несколько раз он приезжал инкогнито к заднему подъезду Фонтанного дома - либо навестить больного графа, либо послушать пение Прасковьи. В феврале 1797 года она дала концерт в концертном зале Фонтанного дома в присутствии императора и нескольких близких друзей. Павел был очарован Прасковьей и подарил ей своё личное бриллиантовое кольцо, которое она и надела для портрета, написанного Аргуновым.<sup>68</sup>

Нравственная поддержка императора, должно быть, сыграла свою роль в решении графа пренебречь общественными условностями и сделать Прасковью своей законной женой. Николай Петрович всегда считал, что род Шереметевых отличается от прочих аристократических кланов, стоит немного выше обычной социальной меры, и эта горделивость, несомненно, только усиливала враждебность общества к нему.<sup>69</sup> В 1801 году граф дал Прасковье вольную, а затем, наконец, 6 ноября, тайно обвенчался с ней в небольшой сельской церкви на Поварской окраине Москвы. Свидетелями были князь

---

<sup>67</sup> Шереметев, Отголоски XVIII века, вып. 4, с. 14.

<sup>68</sup> Шереметев, Отголоски XVIII века, вып. 11: Время императора Павла, 1796-1800, с. 322; Матвеев и Краско, Фонтанный дом, с. 45.

<sup>69</sup> «Из бумаг и переписки графа Николая Петровича Шереметева», Русский архив (1896), № 6, с. 189.

Щербатов и несколько ближайших друзей и слуг. Свадьбу хранили в таком секрете, что запись о браке пролежала скрытой в приходском архиве до 1905 года.<sup>70</sup>

Год спустя Прасковья родила сына, Дмитрия, которого, как и его отца, крестили в частной часовне Фонтанного дома. Но роды подорвали её силы, и, уже давно страдавшая запущенной чахоткой, она умерла после трёх недель мучительных страданий. Через шесть лет граф, всё ещё сокрушённый горем, вспоминал её смерть в своём наставлении сыну:

Лёгкая беременность твоей матери предвещала счастливое разрешение; она родила тебя без боли, и я был исполнен радости, видя, что её доброе здоровье не поколебалось после твоего рождения. Но знай, милый сын, что едва я успел вкушать эту радость, едва успел покрыть твоё нежное младенческое лицо первыми отцовскими поцелуями, как тяжкая болезнь поразила твою мать, а затем её смерть превратила сладкие чувства моего сердца в горькое горе. Я слал Богу горячие молитвы о спасении её жизни, звал искуснейших врачей, чтобы возвратили ей здоровье, но первый из них бесчеловечно отказался помочь, несмотря на мои многократные просьбы, и болезнь усилилась; другие приложили всё усердие, всё знание своего искусства, но не могли её спасти. Мои стоны и рыдания едва не свели меня самого в могилу.<sup>71</sup>

В этот момент, в самую отчаянную пору своей жизни, граф был покинут почти всем петербургским обществом. Готовясь к похоронам, он объявил о смерти Прасковьи и, согласно православному обряду, назначил часы, когда можно было прийти проститься с ней у открытого гроба в Фонтанном доме.<sup>72</sup> Пришло совсем немного людей - настолько мало, что время прощания пришлось сократить с обычных трёх дней до пяти часов. Та же небольшая горстка скорбящих - столь малочисленная, что всех их можно было перечислить поимённо, - присутствовала и на похоронах, сопровождая гроб из Фонтанного дома в Александро-Невский монастырь, где Прасковью похоронили рядом с могилой отца графа. Там были близкие подруги Прасковьи, главным образом крепостные актрисы и певицы его оперы; несколько дворовых из Фонтанного дома, бывших её единственным кругом общения в последние годы; несколько незаконнорождённых детей самого графа от прежних крепостных любовниц; один-два церковных служки; духовник Прасковьи; архитектор Джакомо Кваренги; и двое-трое аристократических друзей графа. Не было никого от двора - Павел был убит в 1801 году; никого из древних дворянских родов; и, быть может, всего поразительнее - никого из самой семьи Шереметевых.<sup>73</sup> И через шесть лет это всё ещё оставалось для графа источником боли и горечи.

Я думал, что у меня есть друзья, которые любят меня, уважают и разделяют мои радости; но когда смерть жены повергла меня почти в отчаяние, я нашёл мало людей, которые утешили бы меня и разделили бы моё горе. Я испытал жестокость. Когда её тело везли хоронить, немногие из тех, кто называл себя моими друзьями, обнаружили хоть какую-

---

<sup>70</sup> Ныне документ хранится в РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 65, л. 3.

<sup>71</sup> «Из бумаг и переписки графа Николая Петровича Шереметева», с. 517.

<sup>72</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 24, л. 4

<sup>73</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 24, лл. 6-7

нибудь чувствительность к этому печальному событию или исполнили христианский долг - проводить её гроб.<sup>74</sup>

Потерявшись в своём горе, граф оставил двор, отвернулся от света и, удалившись в деревню, посвятил последние годы религиозному чтению и благотворительным делам в память о жене. Трудно отделаться от мысли, что в этой благотворительности было и чувство раскаяния, быть может даже вины, - словно попытка искупить что-то перед тем крепостным миром, из которого вышла Прасковья. Он отпустил на волю десятки любимых дворовых, потратил огромные суммы на устройство сельских школ и больниц, учредил фонды для содержания сирот, наделил монастыри средствами, чтобы кормить крестьян в неурожайные годы, и уменьшил повинности своих крепостных.<sup>75</sup> Но самым крупным его замыслом стал странноприимный дом, основанный им на окраине Москвы в память о Прасковье, - *Странноприимный дом*, который в то время, в 1803 году, был, пожалуй, крупнейшей общественной больницей империи: шестнадцать мужских и шестнадцать женских палат. «Смерть моей жены, - писал он, - потрясла меня до такой степени, что единственное средство успокоить страдающий дух я вижу в исполнении её завета - заботиться о бедном и больном человеке».<sup>76</sup>

Долгие годы скорбящий граф выходил из Фонтанного дома и, инкогнито бродя по улицам Петербурга, раздавал милостыню беднякам.<sup>77</sup> Он умер в 1809 году - богатейшим дворянином всей России и, несомненно, самым одиноким. В своём завещательном наставлении сыну он почти дошёл до того, чтобы отвергнуть с корнем ту самую цивилизацию, которую воплощало всё дело его жизни.

Мой вкус и моя страсть к редкостям, - писал он, - были лишь разновидностью тщеславия, как и желание поражать и чаровать людей тем, чего они прежде не видели и не слышали... Я пришёл к убеждению, что блеск подобных вещей может удовлетворить лишь на короткое время и тотчас исчезает в глазах современников. Он не оставляет ни малейшего следа в душе. Для чего всё это великолепие?<sup>78</sup>

После смерти Прасковьи граф написал новому императору Александру I, сообщил ему о своём браке и просил - успешно - признать за Дмитрием права единственного законного наследника.<sup>79</sup> Он утверждал, что его жена была не дочерью кузнеца Кузнецова, а лишь воспитывалась у него, а на самом деле происходила из древнего польского дворянского рода Ковалевских из западных губерний.<sup>80</sup> Эта выдумка была нужна отчасти для того, чтобы

---

<sup>74</sup> «Из бумаг и переписки графа Николая Петровича Шереметева», с. 515.

<sup>75</sup> С. Д. Шереметев (ред.), *Отголоски XVIII века*, вып. 2 (Москва, 1896), с. 10–11; Шереметев, *Отголоски XVIII века*, вып. 11, с. 249, 277; РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 770, л. 27.

<sup>76</sup> С. Д. Шереметев, *Странноприимный дом Шереметевых, 1810–1910* (Москва, 1910), с. 22

<sup>77</sup> Шереметев, *Отголоски XVIII века*, вып. 2, с. 11.

<sup>78</sup> «Из бумаг и переписки графа Николая Петровича Шереметева», с. 511.

<sup>79</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 76, л. 11.

<sup>80</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 24, л. 5.

отличить права Дмитрия от претензий прочих старших сыновей, которых граф имел от разных крепостных женщин - их, насколько можно судить по множеству заявлений, было шесть.<sup>81</sup> Но в этой истории было и нечто поразительно похожее на развязку комической оперы - именно так заканчивается *Анюта*, где служанка, влюблённая в дворянина, наконец получает право выйти за него, и тут выясняется, что она, в сущности, благородного происхождения и была лишь приёмной дочерью своих скромных родителей, нашедших её сиротой. Граф, по-видимому, и собственную жизнь пытался завершить как художественное произведение.

Прасковья была одарена редким умом и силой характера. Она была лучшей певицей в России своего времени, умела читать и писать, владела несколькими языками. И всё же до самого последнего года жизни оставалась крепостной. Что она чувствовала? Как отвечала на ту неприязнь, которую встречала? Как примиряла свою глубокую религиозность, своё сознание греха внебрачной связи с чувством к графу? Очень редко удаётся услышать исповедь крепостной женщины. Но в 1863 году среди бумаг недавно умершей Татьяны Шлыковой, оперной певицы - шереметевского «Граната» - и многолетней подруги Прасковьи, которая после 1803 года воспитывала Дмитрия в Фонтанном доме почти как собственного сына, был найден документ. Он был написан аккуратной рукой самой Прасковьи и представлял собой своего рода «молитву» к Богу, очевидно созданную в сознании близкой смерти. Перед самой кончиной Прасковья вручила её подруге с просьбой не показывать графу.

Язык этой молитвы отрывочен и темен; настроение её - почти бредовое, переполненное виной и покаянием; но отчаянный крик о спасении слышится в ней совершенно ясно:

...О милосердный Господи, источник всякой благодати и бесконечной милости, исповедую Тебе мои грехи и представляю пред очи Твои все мои грешные и незаконные дела. Согрешила я, Господи, и болезнь моя, все эти язвы на теле моём, есть тяжкое наказание. Несу я тяжёлый труд, и нагое тело моё осквернено. Тело моё осквернено грешными узами и помыслами. Я дурна. Я горда. Я безобразна и сластолюбива. Внутри тела моего сидит дьявол. Плачь, ангел мой, душа моя умерла. Она во гробе, лежит без чувств и подавлена горечью, ибо, Господи, низкие и незаконные мои дела умертвили душу мою. Но по сравнению с грехами моими сила Господа моего велика, больше песка во всех морях, и из глубины моего отчаяния умоляю Тебя, Господи Вседержителю, не отвергни меня. Молю о Твоём благословении. Прошу Твоей милости. Накажи меня, Господи, но только не дай мне умереть.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 1, дд. 770, 776, 780

<sup>82</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 79, лл. 1-8. Я отредактировал русский текст и сделал небольшие сокращения, чтобы он стал понятнее. Здесь он публикуется впервые.

Музыкальная жизнь России XVIII века находилась под властью двора и небольших частных театров, подобных шереметевскому. Общественные театры, давно уже укоренившиеся в городах Западной Европы, по-настоящему вошли в культурную жизнь России лишь в 1780-х годах. Аристократия предпочитала собственный круг и редко посещала публичные сцены, рассчитанные главным образом на чиновников и торговых людей и дававшие водевили да комические оперы. «В наше время, - вспоминала княгиня Янкова, - считалось более тонким ездить [в театр] по личному приглашению хозяина, а не в такой, куда всякий может попасть за деньги. И в самом деле, у кого же из наших близких друзей не было собственного домашнего театра? »<sup>83</sup>

С конца XVIII до начала XIX века крепостные театры существовали в ста семидесяти трёх усадьбах, а крепостные оркестры - более чем в трёхстах.<sup>84</sup> Помимо Шереметевых, большие крепостные труппы и особые театральные здания были у Гончаровых, Салтыковых, Орловых и Шепелевых, у Толстых и Нащёкиных; все они брали за образец придворные театры Екатерины Великой - Эрмитажный театр в Зимнем дворце и Китайский театр в Царском Селе. Именно Екатерина задала тон русскому театру. Она сама писала пьесы и комические оперы, ввела моду на высокий французский стиль в русском театре и первая выдвинула просветительскую идею театра как школы общественных нравов и чувствительности. При ней крепостной театр занял центральное место в жизни дворянской усадьбы.

В 1762 году Пётр III освободил дворянство от обязательной государственной службы. Екатерина Великая, его жена, стремилась придать русскому дворянству черты европейского сословия. Это был переломный момент в культурной истории аристократии. Освободившись от служебных повинностей, многие дворяне удалились в деревню и занялись устройством своих имений. Десятилетия, последовавшие за эмансипацией дворянства, стали золотым веком усадебного дворца наслаждений: именно тогда в русской провинции впервые возникли художественные галереи, изысканные парки и сады, оркестры и театры. Усадьба стала гораздо большим, чем просто хозяйственная единица или место жительства. Она превратилась в остров европейской культуры на русской крестьянской земле.

Шереметевская крепостная труппа была важнейшим театром такого рода и сыграла выдающуюся роль в развитии русской оперы. Её ставили на один уровень с придворным театром в Петербурге и считали несравненно выше лучшей московской труппы, игравшей на месте нынешнего Большого театра. Английский директор московского театра Майкл

---

<sup>83</sup> Д. Благово, «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений (Елизавета Петровна Янкова, 1768-1861)», в кн.: Рассказы бабушки, записанные и собранные её внуком (С.-Петербург, 1885), с. 207.

<sup>84</sup> Лепская, Репертуар крепостного театра Шереметевых, с. 17; Глинка в воспоминаниях современников (Москва, 1955), с. 39.

Меддокс жаловался, что Кусково, где за вход не брали денег, отнимало у его театра публику.<sup>85</sup> Пётр Шереметев учредил крепостную труппу в Кускове в 1760-х годах. Сам он не был человеком художественным, но театр служил модным украшением его великолепной усадьбы и позволял развлекать двор. В 1775 году императрица Екатерина посетила представление французской оперы в открытом театре Кускова. Это побудило Шереметева между 1777 и 1787 годами выстроить настоящий театр, достаточно большой, чтобы ставить иностранные оперы, столь любимые императрицей. Руководство он поручил своему сыну, графу Николаю Петровичу, хорошо знакомому с французской и итальянской оперой по европейским путешествиям начала 1770-х годов. Николай обучал своих крепостных артистов по строгой школе Парижской оперы. Крестьянских детей с разных усадеб отбирали с ранних лет и готовили либо в музыканты оркестра, либо в певцов труппы. Был у них и немецкий преподаватель скрипки, и французский учитель пения, и наставник итальянского и французского языков, и русский хормейстер, и несколько иностранных балетмейстеров, главным образом из придворных. Именно театр Шереметевых первым в России стал ставить балеты как самостоятельные спектакли, а не как часть оперы, что в XVIII веке было обычно. Под руководством Николая Петровича здесь было поставлено более двадцати французских и русских балетов, многие из которых впервые увидели свет именно в России, задолго до того, как появились на придворной сцене.<sup>86</sup> Русский балет родился в Кускове.

Там же рождалась и русская опера. Театр Шереметевых первым ввёл практику исполнения опер на русском языке, тем самым подталкивая к сочинению национальных произведений. Одну из самых ранних, *Анюту* (впервые поставленную в Царском Селе в 1772 году), сыграли в Кускове в 1781-м; а *Несчастье от кареты* Василия Пашкевича на либретто Княжнина, впервые представленное в Эрмитажном театре в 1779 году, появилось в Кускове уже через год. [*Степан Дегтярев, композитор оперы «Минин и Пожарский» (1811), был бывшим крепостным Шереметева*] До последней четверти XVIII века опера ввозилась из-за границы. Поначалу первенствовали итальянцы. *Каландро* Джованни Ристори был исполнен в 1731 году группой итальянских певцов из дрезденского двора. Императрица Анна, очарованная этим «экзотическим и неразумным увеселением», пригласила в Петербург для развлечения двора венецианскую труппу Франческо Арайи, которая поставила в Зимнем дворце на день рождения императрицы в 1736 году *La Forza dell'amore*. Начиная с Арайи, пост *maestro di capella* при императорском дворе, за двумя исключениями, вплоть до XIX века занимали итальянцы. Поэтому первые русские композиторы испытали сильнейшее влияние итальянского стиля. Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский и Евстигней Фомин учились у итальянцев Петербурга, а затем отправлялись продолжать занятия уже в самой Италии. Березовский был соучеником Моцарта в композиторской школе падре Мартини. [*Березовский был избран в Болонскую филармоническую академию.*

---

<sup>85</sup> Бескин, Крепостной театр, с. 13.

<sup>86</sup> Лепская, Репертуар крепостного театра Шереметевых, с. 19, 28–29.

*В 1775 году он возвратился в Россию и, двумя годами позднее, покончил с собой. Фильм Тарковского Ностальгия (1983) представляет собой размышление об изгнанничестве, переданное через историю жизни Березовского. В нём рассказывается о русском эмигранте в Италии, занятом исследованием своего двойника и соотечественника - несчастного русского композитора XVIII века.]*

Любовная связь Петербурга с Венецией продолжилась и в Глинке, и в Чайковском, и в Стравинском. Ирония судьбы в том, что пионером русской национальной оперы оказался именно венецианец - Катерино Кавос. Он приехал в Петербург в 1798 году и сразу полюбил этот город, напомиравший ему родную Венецию. В 1803 году император Александр взял под контроль публичные театры и поставил Кавоса во главе Большого Каменного, до той поры единственного общественного оперного театра, где шли исключительно итальянские оперы. Кавос превратил Большой Каменный в оплот русской оперы. Он писал такие произведения, как *Илья Богатырь* (1807), на героико-национальные сюжеты с русскими либретто, а его музыка была глубоко проникнута русскими и украинскими народными песнями. Многие в оперной музыке Глинки, что позднее националисты будут превозносить как основание русской традиции, в сущности было предвосхищено Кавосом. И так, «национальный характер» русской музыки впервые выработал иностранец. [Этим, однако, связь семьи Кавосов с русской оперой не окончилась. Сын Катерино, архитектор Альберто Кавос, заново перестроил Большой театр в Москве после пожара 1853 года. Ему же принадлежит и здание Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Его дочь, Камилла Кавос, вышла замуж за придворного архитектора и портретиста Николая Бенуа, чья семья бежала в Петербург от Французской революции в 1790-х годах; а их сын, Александр Бенуа, вместе с Сергеем Дягилевым основал Ballets Russes.]

Французы тоже сыграли огромную роль в становлении своеобразного русского музыкального стиля. Екатерина Великая, вступив на престол в 1762 году, одним из первых своих распоряжений пригласила ко двору французскую оперную труппу. В её царствование придворная опера была одной из лучших в Европе. Здесь впервые были поставлены несколько крупных произведений, в том числе *Il barbiere di Siviglia* Джованни Паизиелло (1782). Французская комическая опера с её деревенскими декорациями, опорой на народный говор и напевы сильно повлияла на ранние русские оперы и зингшпили вроде *Анюты* (сходной с *Annette et Lubin* Фавара), *Санктпетербургского гостиного двора* и *Мельника-колдуна* (восходящего к руссоистскому *Le devin du village*). Эти произведения составляли основу шереметевского репертуара: их в огромном количестве ставили в Кускове и Останкине. С их комическими крестьянами и стилизованными мотивами народной песни они давали голос рождающемуся русскому национальному самосознанию.

Одна из самых ранних русских опер была специально заказана Шереметевыми для открытого театра в Кускове в 1781 году. *Зелен ревностю, или Лодочник Кусковский* представляла собой панегирик шереметевскому дворцу и парку, которые сами служили

фоном спектаклю.<sup>87</sup> Постановка была нагляднейшим примером того, как дворец сам превратился в своего рода театр разыгрывания русской дворянской жизни, в огромную декорацию для показа богатства и европейских манер.

В планировке и убранстве дворца и парка уже заключалось многое от театральности. Высокая каменная арка, ведущая в усадьбу, означала вход в иной мир. Ландшафтный парк и барский дом были расположены, как предметы на сцене, так, чтобы производить определённое чувство и нужный театральный эффект. Такие детали, как скульптурные «крестьяне» или «скот» в лесу, или храмы, озёра и гроты в английском парке, усиливали ощущение, будто попадаешь в пространство вымысла.<sup>88</sup> Кусково было полно драматической искусственности. Главный дом был деревянным, но резьбой ему придавали вид каменного. В парке стоял поразительный грот-павильон Фёдора Аргунова, насквозь проникнутый игрой: внутренние стены его были выложены искусственными раковинами и морскими чудовищами, а барочный купол - в переключке с петербургским домом - был устроен в виде фонтана.

И в повседневном укладе, и в публичных увеселениях дворец тоже был своего рода театром. Ежедневные церемонии дворянской жизни - утренняя молитва, завтрак, обед и ужин, одевание и раздевание, занятия делами и охота, умывание и отход ко сну - разыгрывались по подробному сценарию, который должен был быть выучен и самим хозяином, и огромным вспомогательным составом дворовых. А затем существовали особые общественные функции, служившие ареной для ритуального исполнения «воспитанности»: салон или бал, где дворяне демонстрировали свои европейские манеры и утончённый вкус. Женщины надевали парики и мушки. От них ожидалось, что они будут играть ведущие роли - танцевать, петь у фортепиано, кокетничать. Щёголи превращали свою светскую жизнь в своего рода перформанс: каждая манерная поза была заранее отрепетирована. Они готовились к выходу, как Евгений Онегин - как актёр перед публикой:

Он три часа по крайней мере  
Пред зеркалами проводил<sup>89</sup>

Этикет требовал, чтобы человек держался и двигался в установленной форме: как он ходит и стоит, как входит в комнату и покидает её, как сидит и держит руки, как улыбается и кивает - каждая поза, каждый жест были тщательно прописаны. Поэтому в бальных и приёмных залах стены были сплошь уставлены зеркалами - чтобы *beau monde* мог наблюдать собственное исполнение.

Аристократия России XVIII века сознавала, что разыгрывает свою жизнь как на сцене. Русский дворянин не рождался «европейцем», и европейские манеры не были для него естественны. Он должен был их усвоить, так же как усваивал иностранный язык, - в

---

<sup>87</sup> Там же, с. 23.

<sup>88</sup> См.: Roosevelt, *Life on the Russian Country Estate*, с. 130-132.

<sup>89</sup> А. Пушкин, *Евгений Онегин*, пер. J. Falen (Oxford, 1990), с. 15

ритуализованной форме, сознательно подражая Западу. Всё началось с Петра Великого, заново изобретавшего и самого себя, и своё дворянство по европейскому образцу. Первым делом, вернувшись из Европы в 1698 году, он приказал всем боярам сменить кафтаны на западную одежду. В знак разрыва с прошлым он запретил носить бороды, которые традиционно считались знаком святости, и сам взял ножницы, чтобы остричь неохотных придворных. [В православном представлении борода была знаком Бога и Христа (ибо оба изображались с бородами), а также признаком мужского достоинства человека (тогда как у животных бывают усы). По этой причине, вследствие запрета Петра, ношение бороды стало знаком «русскости» и символом сопротивления его преобразованиям.] Пётр велел своим дворянам устраивать приёмы по-европейски и вместе с полицмейстером лично утверждал списки приглашённых на балы у избранных хозяев. Аристократия должна была научиться говорить по-французски, вести учтивую беседу и танцевать менуэт. Женщины, прежде затворённые в частных покоях полуазиатского мира Московии, должны были стягивать себя корсетами и украшать собой общество.

Все эти новые светские манеры были изложены в руководстве по этикету - «Юности честное зеркало», которое Пётр переработал и дополнил по немецкому оригиналу. Среди прочего оно советовало читателю «не плевать пищи», не «чистить зубы ножом» и не «сморкаться, как в трубу».<sup>90</sup> Исполнение таких манер требовало сознательного способа поведения, очень отличного от бессознательной, «естественной» русской повадки; в такие минуты русский должен был ясно понимать, что ведёт себя иначе, чем повёл бы себя как русский. Книги этикета, вроде *Юности честного зеркала*, советовали дворянину воображать себя среди иностранцев и в то же время сохранять сознание себя как русского. Смысл заключался не в том, чтобы стать европейцем, а в том, чтобы играть европейца. Подобно актёру, наблюдающему за своим образом на сцене, дворянину предписывалось смотреть на собственное поведение с русской точки зрения. Только так он мог судить о степени его чужеземности.<sup>91</sup>

Дневники и мемуары аристократии полны описаний того, как молодых дворян учили вести себя в обществе. «Суть была не в том, чтобы быть, а в том, чтобы казаться», - вспоминал один мемуарист.<sup>92</sup> В этом обществе внешность значила всё, а успех зависел от тончайшего кода манер, доступного лишь людям «воспитанным». Модное платье, хорошая осанка, скромность и мягкость, изящная беседа и умение танцевать с грацией - таковы были признаки *comme il faut*. Толстой сводил их к превосходному французскому языку, длинным, отчищенным и отполированным ногтям и «равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки».<sup>93</sup> Отполированные ногти и культивированная

---

<sup>90</sup> Юности честное зеркало (С.-Петербург, 1717), с. 33–34.

<sup>91</sup> Ю. Лотман, Л. Гинзбург, Б. Успенский, *The Semiotics of Russian Cultural History* (Ithaca, 1985), с. 67–70.

<sup>92</sup> Цит. по: Лаврентьева, Светский этикет пушкинской поры, с. 228.

<sup>93</sup> Л. Толстой, *Детство, Отрочество и Юность*, пер. Л. и А. Мод (Oxford, 1969), с. 339.

скука составляли и отличительные черты франта у Пушкина. Таков был и сам поэт в знаменитом портрете Кипренского, который, по-видимому, был написан в Фонтанном доме.

У европейского русского была раздвоенная личность. Его ум словно делился надвое. На одном уровне он сознавал, что разыгрывает свою жизнь по предписанным европейским правилам; на другом же его внутренний мир определялся русскими обычаями и чувствительностью. Разумеется, граница не была абсолютной: существовали и сознательные формы «русскости», как это покажут славянофилы, точно так же как европейские привычки могли укорениться настолько, что начинали казаться и ощущаться «естественными». Но, вообще говоря, европейский русский был «европейцем» на публичной сцене и «русским» в те минуты частной жизни, когда, не задумываясь, делал что-то так, как делают только русские. Это было наследие предков, которого никакое европейское влияние не могло полностью стереть. Именно оно и позволяло такой графине, как Наташа, плясать русский танец. В каждом русском аристократе, сколь бы европейским он ни стал, жила скрытая, инстинктивная отзывчивость к обычаям и верованиям, привычкам и ритмам русской крестьянской жизни. И в самом деле, как могло быть иначе, если дворянин рождался в деревне, детство проводил среди крепостных и большую часть жизни жил в усадьбе - крошечном островке европейской культуры посреди огромного русского крестьянского моря?

Планировка дворца была картой этого раздвоения в эмоциональной географии дворянина. Были парадные приёмные залы - всегда холодные, продуваемые, где нормой оставались формальные европейские манеры. И были частные комнаты - спальни и будуары, кабинет и гостиная, часовня и образная, коридоры, ведущие к людским, - там царил уже более свободный, «русский» образ жизни. Иногда это разделение поддерживалось сознательно. Граф Шереметев так перестроил помещения Фонтанного дома, что вся его публичная жизнь протекала на левой, набережной, стороне, тогда как правая половина и комнаты, выходящие в сад, были запечатаны для его тайной жизни. Эти личные покои резко отличались по духу и облику: тёплые ткани, обои, ковры, русские печи - в отличие от холодных, беспечных парадных залов с их паркетными и мраморными зеркальными стенами.<sup>94</sup> Казалось, граф сознательно создавал для себя с Прасковьей более интимное, домашнее и в каком-то смысле более «русское» пространство.

В 1837 году Зимний дворец в Петербурге был опустошён таким пожаром, что его зарево видели из деревень, лежавших почти в восьмидесяти километрах. Огонь начался в деревянном подвале и быстро перекинулся на верхние этажи, где за каменными фасадами скрывались деревянные стены и пустоты. Символика этого пожара не ускользнула от внимания города, построенного на апокалиптических мифах: старая Россия мстила. Под парадными залами каждого дворца скрывалась «деревянная Россия». Из блистательного

---

<sup>94</sup> Е. Лансере, «Фонтанный дом (постройка и переделки)», в кн.: Записки историко-бытового отдела Государственного Русского музея, вып. 1 (Ленинград, 1928), с. 76.

белого бального зала Фонтанного дома можно было выйти через потайную зеркальную дверь и по лестнице спуститься в мир людских и служб - в другой мир. Здесь были кухни, где с утра до вечера ревел открытый огонь, кладовая во дворе, куда крестьянские подводы свозили продукты, каретный сарай, кузница, мастерские, конюшни, коровники, птичник, большая оранжерея, прачечная и деревянная баня.<sup>95</sup>



#### 4. Жерар де ля Барт. Лечебная баня в Москве 1790 г.

Хождение в баню было старинным русским обычаем. Со времён Средневековья она в народном сознании считалась чем-то вроде национального установления, и тот, кто не мылся в ней по меньшей мере три раза в неделю, почти наверняка считался человеком чужеземного происхождения. У всякого дворянского дома была своя парная. В городах и деревнях непременно существовали и общественные бани, где мужчины и женщины, распариваясь, хлестали друг друга, по обычаю, молодыми берёзовыми вениками, а затем охлаждались, валяясь в снегу. Из-за своей славы места, связанного с распущенностью и буйством, Пётр Великий пытался искоренить баню как пережиток средневековой Руси и поощрял устройство западных ванных комнат в петербургских дворцах и особняках. Но, несмотря на тяжёлое обложение налогами, дворяне продолжали предпочитать именно

---

<sup>95</sup> Матвеев и Краско, Фонтанный дом, с. 55.

русскую баню, и к концу XVIII века почти в каждом дворце Петербурга она уже существовала.<sup>96</sup>

Бане приписывали особые целительные силы: её называли «первым народным доктором» - вторым была водка, третьим сырой чеснок. С ней в фольклоре было связано бесчисленное множество магических верований.<sup>97</sup> Ходить в баню означало очищать и тело, и душу, и этот обряд очищения входил в состав важнейших жизненных ритуалов. Баня была местом родов: там было тепло, чисто и уединённо, а в ряде омовений, продолжавшихся сорок дней, женщина очищалась от кровотечения после родов, которое, согласно церковному учению и народному представлению о бескровном рождении Христа, символизировало падшее состояние женской природы.<sup>98</sup> Такова же была и роль бани в предсвадебных обрядах: баня должна была обеспечить невесте чистоту. Накануне свадьбы невесту мыли в бане подружки. В некоторых местах существовал обычай, по которому жених и невеста шли в баню ещё до брачной ночи. И это были не только крестьянские обряды. Их разделяло и провинциальное дворянство, и даже двор в последние десятилетия XVII века. По обычаю 1670-х годов невесту царя Алексея мыли в бане накануне свадьбы, пока снаружи хор пел священные песнопения, после чего она принимала благословение священника.<sup>99</sup> Это переплетение языческих банных ритуалов с христианскими обрядами столь же сильно проявлялось и на Крещение, и на Масленицу, в Чистый понедельник, когда омовение и благочестие становились долгом дня. В эти святые дни русская семья любого сословия очищала дом: мыла полы, вычищала кладовые, избавлялась от всего испорченного и нечистого, а затем, окончив это, отправлялась в баню и очищала уже тело.

Но наверху, в дворцовом салоне, царил совсем иной, европейский мир. У каждого крупного дворца был свой салон, служивший местом концертов и маскарадных балов, банкетов, вечеров, а иной раз и чтений величайших русских поэтов эпохи. Как и все дворцы, Фонтанный дом был создан для ритуалов салона. К нему вела широкая дугообразная подъездная аллея для торжественного прибытия в четвёрке; был публичный вестибюль, где снимали плащи и меха; была «парадная» лестница и просторные приёмные, где гости могли показать свой изысканный туалет и безукоризненные манеры. Звёздами этого общества были женщины. Всякий салон вращался вокруг красоты, обаяния и ума своей хозяйки - как, например, вокруг Анны Павловны Шерер у Толстого или Татьяны у Пушкина. После того как в Московии женщины были отстранены от публичной жизни, в европейской культуре XVIII века им достались ведущие роли. Впервые в истории русского государства одна за

---

<sup>96</sup> И. А. Богданов, Три века петербургской бани (С.-Петербург, 2000), с. 59.

<sup>97</sup> Записки Юста Юля, датского посланника при Петре Великом (Москва, 1899), с. 85.

<sup>98</sup> См.: E. Levin, "Childbirth in Pre-Petrine Russia: Canon Law and Popular Traditions", в кн.: B. Clements et al. (eds.), *Russia's Women. Accommodation, Resistance, Transformation* (Berkeley, 1991), особенно с. 44-51; а также, о тех же обычаях в более позднее время: T. Listova, "Russian Rituals, Customs and Beliefs Associated with the Midwife (1850-1930)", в кн.: H. Balzer (ed.), *Russian Traditional Culture* (Armonk, N.Y., 1992), с. 130-131.

<sup>99</sup> Богданов, Три века петербургской бани, с. 16

другой воцарились женщины. Женщины стали образованными и сведущими в европейских искусствах. К концу XVIII века образованная дворянка стала нормой высшего общества - настолько, что необразованная знатная женщина сделалась обычной фигурой сатиры. Вспоминая годы своей службы французским послом в Петербурге в 1780-х, граф Сегюр писал, что русские дворянки «опередили мужчин в этом поступательном движении к усовершенствованию: уже тогда можно было увидеть множество изящных женщин и девушек, замечательных своим обаянием, свободно говоривших на семи-восьми языках, игравших на нескольких инструментах и знакомых с лучшими романистами и поэтами Франции, Италии и Англии». По сравнению с ними мужчинам, казалось, почти нечего было сказать.<sup>100</sup>

Именно женщины задавали манеры салона: целование руки, балетные поклоны, женственность в одежде щёголя - всё это было следствием их влияния. Искусство салонной беседы было глубоко женственным. Оно состояло в непринуждённом и остроумном разговоре, почти незаметно перескакивающим с одной темы на другую и превращающем даже самую пустую мелочь в предмет обворожительного интереса. При этом считалось *de rigueur* не задерживаться надолго на серьёзных, «мужских» предметах вроде политики или философии, как подчёркивает Пушкин в *Евгении Онегине*:

Стал оживляться разговор;  
Перед хозяйкой легкий вздор  
Сверкал без глупого жеманства,  
И прерывал его меж тем  
Разумный толк без пошлых тем,  
Без вечных истин, без педанства,  
И не пугал ничьих ушей  
Свободной живостью своей.<sup>101</sup>

Пушкин полагал, что смысл салонной беседы заключается во флирте; однажды он даже заметил, что смысл жизни - «нравиться женщинам». Друзья поэта свидетельствовали, что его разговор был не менее замечателен, чем стихи, а брат его Лев уверял, что истинный его гений заключался именно в искусстве флиртовать.<sup>102</sup>

Читательская публика в пушкинскую эпоху по преимуществу состояла из женщин. В *Евгении Онегине* мы впервые встречаем Татьяну с французской книгой в руках. Русский литературный язык, складывавшийся именно в это время, сознательно создавался такими поэтами, как Пушкин, в расчёте на женский вкус и салонную манеру. До появления Пушкина у России почти не было национальной литературы - отсюда его почти божественный статус в этом обществе. «В России, - писала мадам де Сталь в начале XIX

---

<sup>100</sup> Memoirs of Louis Philippe Comte de Ségur, с. 236–237.

<sup>101</sup> Пушкин, Евгений Онегин, с. 196.

<sup>102</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, в 2 т. (Москва, 1974), т. 1, с. 63.

века, - литература состоит из нескольких господ».<sup>103</sup> К 1830-м годам, когда русская литература уже бурно росла, подобные взгляды стали предметом сатиры у патриотически настроенных писателей, прежде всего у самого Пушкина. В *Пиковой даме* (1834) старая графиня, дама екатерининской поры, просит внука привезти ей новый роман; когда он спрашивает, не хочет ли она русский, старуха изумляется: «А разве есть русские романы?»<sup>104</sup> Однако в то время, когда писала де Сталь, отсутствие большого литературного канона действительно было источником острого смущения для образованных русских. В 1802 году поэт и историк Николай Карамзин составил «Пантеон российских авторов», начиная с древнего певца Бояна и кончая современностью, - и насчитал всего лишь около двадцати имён. Главные литературные достижения XVIII века - сатиры князя Антиоха Кантемира, оды Василия Тредиаковского и Александра Сумарокова, поэзия Ломоносова и Державина, трагедии Якова Княжнина и комедии Дениса Фонвизина - едва ли составляли живую национальную литературу. Все эти произведения были производными от жанров неоклассической традиции. Некоторые почти не отличались от переводов европейских сочинений, где русскими делались только имена действующих лиц, а действие переносилось в Россию. Владимир Лукин, придворный драматург Екатерины, «русифицировал» множество французских пьес; то же делал в 1760-х и Фонвизин. За три последние четверти XVIII века в России было издано около пятисот литературных произведений. Но лишь семь из них были русскими по происхождению.<sup>105</sup>

Отсутствие национальной литературы будет преследовать молодую русскую интеллигенцию в первые десятилетия XIX века. Карамзин объяснял это отсутствием тех институтов - литературных обществ, журналов, газет, - которые и создают европейское общество.<sup>106</sup> Читающая публика в России была чрезвычайно мала - в XVIII веке это была ничтожная доля всего населения, - а книгоиздание находилось под господством Церкви и двора. Писателю было крайне трудно, а чаще невозможно, жить своим пером. Большинство русских авторов XVIII века, будучи дворянами, обязаны были служить в государственных учреждениях; а те, кто, подобно баснописцу Ивану Крылову, отворачивались от службы и пытались прокормиться литературой, почти всегда оказывались в крайней бедности. Крылов был вынужден стать домашним учителем в домах богатых. Некоторое время он служил и в Фонтанном доме.<sup>107</sup>

Но главным препятствием для развития национальной литературы было неразвитое состояние самого литературного языка. Во Франции или Англии писатель в значительной мере писал так, как люди говорили; в России же между письменным и устным языком зияла пропасть. Письменный язык XVIII века представлял собой неуклюжую смесь архаического

---

<sup>103</sup> Цит. по: С. М. Волконский, Мои воспоминания, в 2 т. (Москва, 1992), т. 1, с. 130.

<sup>104</sup> А. Пушкин, Пиковая дама и другие повести, пер. R. Edmonds (Harmondsworth, 1962), с. 158.

<sup>105</sup> В. В. Сиповский, Очерки из истории русского романа (С.-Петербург, 1909), кн. 1, вып. 1, с. 43.

<sup>106</sup> См. статью Карамзина 1802 года: «Отчего в России мало авторских талантов?», в кн.: Сочинения, т. 3, с. 526-533.

<sup>107</sup> Помещицья Россия по запискам современников (Москва, 1911), с. 134.

церковнославянского, канцелярского жаргона и латинизмов, занесённых через польскую речь. Не существовало ни твёрдой грамматики, ни устойчивой орфографии, ни ясных определений многих отвлечённых слов. Это был книжный, тёмный язык, далёкий и от разговорной речи высшего общества, которая по существу была французской, и от простой речи русского крестьянства.

Такова была задача, стоявшая перед русскими поэтами в начале XIX века: создать литературный язык, укоренённый в живой разговорной речи общества. Главная трудность состояла в том, что в русском языке не существовало слов для тех мыслей и чувств, из которых и состоит лексикон писателя. Основные литературные понятия, большей частью относящиеся к частному миру личности, в русском языке ещё не были выработаны: «жест», «симпатия», «частная жизнь», «импульс», «воображение» - всё это нельзя было выразить без помощи французского.<sup>108</sup> Более того, поскольку почти вся материальная культура общества была заимствована с Запада, в русском, как заметил Пушкин, просто не было слов для самых элементарных вещей:

Но панталоны, фрак, жилет -  
Всех этих слов на русском нет.<sup>109</sup>

Поэтому русские писатели были вынуждены приспособлять или заимствовать французские слова, чтобы передавать чувства и изображать мир своих читателей из высшего общества. Карамзин и его литературные ученики, включая молодого Пушкина, стремились «писать, как говорят люди» - то есть как говорят люди вкуса и культуры, и прежде всего «воспитанная женщина» светского общества, которую они справедливо считали своим «главным читателем».<sup>110</sup> Этот «салонный стиль» отличался известной лёгкостью и изяществом благодаря галлизированному синтаксису и фразеологии. Но чрезмерное изобилие французских заимствований и неологизмов делало его и тяжеловесным, и многословным. И в сущности он был так же далёк от простой народной речи, как церковнославянский язык XVIII века. Это был язык светского притворства, который Толстой высмеял уже в первых страницах *Войны и мира*:

Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими).<sup>111</sup>

Но этот салонный стиль был необходимой ступенью в развитии литературного языка. Пока в России не возникло более широкого круга читателей и не появилось больше писателей, готовых брать за основу простую речь, другой возможности не существовало. Даже в начале

---

<sup>108</sup> В. Виноградов, *Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.* (Leiden, 1949), с. 239.

<sup>109</sup> Пушкин, *Евгений Онегин*, с. 16.

<sup>110</sup> Ю. Лотман, Б. Успенский, «"Письма русского путешественника" Карамзина и их место в развитии русской культуры», в кн.: Н. М. Карамзин, *Письма русского путешественника* (Ленинград, 1984), с. 598; Н. Херасков, *Избранные произведения* (Москва—Ленинград, 1961), с. 83.

<sup>111</sup> Л. Толстой, *Война и мир*, пер. Л. и А. Мод (Oxford, 1998), с. 3.

XIX века, когда такие поэты, как Пушкин, старались вырваться из-под иностранного владычества над языком, изобретая русские слова, им всё равно приходилось объяснять их салонной публике. Так, в повести «Барышня-крестьянка» Пушкин вынужден был пояснить значение русского слова «самобытность», добавив в скобках его французский эквивалент - *individualité*.<sup>112</sup>

5

В ноябре 1779 года в Эрмитажном придворном театре в Петербурге состоялась премьера комической оперы Княжнина «*Несчастье от кареты*». Место для неё было выбрано с изысканной иронией: ведь эта блистательная сатира на рабское подражание иностранным нравам звучала именно там, где это подражание царило безраздельно. Роскошный театр, недавно выстроенный итальянцем Кваренги в Зимнем дворце, был обителью французской оперы - самой престижной из всех иностранных трупп. Его избранная публика являлась туда в безукоризненных французских платьях и с последними парижскими причёсками. Здесь-то и процветала именно та галломания, которую Княжнин в своей опере обвинял в нравственном растлении общества. Опера рассказывает о двух влюблённых крестьянах, Лукьяне и Анюте, которым мешает соединиться ревнивый приказчик их господ, Климентий, сам желающий заполучить Анюту. Как крепостные, оба они принадлежат глупой дворянской чете по фамилии Фирюлины, чья единственная цель в жизни - обезьянничать, перенимая новейшие парижские моды. Фирюлины решают, что непременно должны обзавестись новой каретой, о которой теперь все говорят. Чтобы добыть деньги, они велят Климентию продать нескольких своих крепостных в рекруты. Климентий выбирает Лукьяна. И только тогда, когда влюблённые начинают молить своих хозяев на чувствительном языке галлизированного салона, Лукьяна наконец освобождают. До той минуты Фирюлины смотрели на них просто как на русских мужиков и, следовательно, полагали, что таким существам чувства вроде любви вовсе не свойственны. Но всё сразу предстает в ином свете, как только Лукьян и Анюта начинают говорить французскими клише.<sup>113</sup>

Сатира Княжнина была одной из целой череды пьес, где иностранное жеманство Петербурга приравнивалось к нравственному разложению общества. Петербургский щёголь - в модном платье, с напускными манерами и женоподобной французской речью - стал отрицательным образом «русского человека». Он сделался посмешищем комедий - от Медора в кантемировском сатирическом «*Худом воспитании*» (1729) до Ивана в фонвизинском «*Бригадире*» (1769). В этих комедиях уже содержались зачатки национального самосознания, основанного на противопоставлении чужого и своего. Порочные и искусственные повадки франта противопоставлялись простой и естественной добродетели крестьянства; соблазны европейского города - духовным ценностям русской

---

<sup>112</sup> Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв., с. 202.

<sup>113</sup> S. Karlinsky, *Russian Drama from Its Beginnings to the Age of Pushkin* (Berkeley, 1985), с. 143–144.

деревни. Молодой щёголь не только говорил с русскими старшими на чужом языке, так что непонимание его галлицизмов рождало бесчисленные комические недоразумения; он жил ещё и по чуждому нравственному кодексу, угрожавшему патриархальным устоям России. В комедии Хераскова *«Ненавистник»*, шедшей в Петербурге в тот же год, что и *«Несчастье от кареты»*, фигура франта по имени Стовид советует другу, не сумевшему склонить молодую девушку пойти с ним против воли родителей, «втолковать ей, что в Париже дочерняя любовь к родителям считается мешанством». И впечатлительная девушка действительно поддаётся этому доводу; тогда Стовид рассказывает, как слышал, что она сказала отцу: «Прочь! Во Франции отцы не водятся с детьми, и только купеческие дочери целуют у отцов руки». А после того плюнула в него.<sup>114</sup>

В самой сердцевине всех этих сатир лежало представление о Западе как об отрицании русских начал. Нравоучение было простым: рабски подражая западным образцам, аристократы утратили всякое чувство собственной национальности. Стремясь стать своими среди иностранцев, они сделались иностранцами у себя дома.

Дворянин, обожествляющий Францию и потому презирающий Россию, - постоянный персонаж этих комедий. «Для чего я родился русским?» - восклицает Дюлеж в сумароковских *«Чудовищах»* (1750). «О природа! не стыдно ли тебе, что ты дала мне русского отца?» Его презрение к соотечественникам так велико, что в продолжении пьесы он даже вызывает знакомого на дуэль за то, что тот осмелился назвать его «соотечественником и братом».<sup>115</sup> Иван Фонвизина в *«Бригадире»* считает Францию своей «духовной родиной» лишь потому, что когда-то его учил французский кучер. Вернувшись из поездки во Францию, он заявляет, что «всякий, кто хоть раз побывал в Париже, имеет право более не считать себя русским».<sup>116</sup>

Этот литературный тип остался одним из столпов русской сцены и в XIX веке. Чацкий у Грибоедова в *«Горе от ума»* (1822–1824) до того проникается европейской культурой во время своих странствий, что по возвращении уже не в силах выносить жизнь в Москве. Он снова уезжает - в Париж, заявляя, что в русской жизни для него более нет места. Чацкий был прообразом тех «лишних людей», которые населяют русскую литературу XIX века: пушкинского Евгения Онегина, лермонтовского Печорина, тургеневского Рудина; в основе всех их бед лежит чувство отчуждения от родной земли.

В действительной жизни Чацких было множество. Достоевский встречал их в русских эмигрантских кругах Германии и Франции в 1870-х годах:

...были всякие, но, в огромном большинстве, если не все, - более или менее ненавидящие Россию, иные нравственно, вследствие убеждения, "что в России таким порядочным и умным, как они, людям нечего делать", другие уже просто ненавидя ее безо всяких

<sup>114</sup> Российский театр, в 43 т. (С.-Петербург, 1786–1794), т. 10 (1786), с. 66.

<sup>115</sup> Российский театр, т. 16 (1787), с. 17; Русская комедия XVIII века (Москва—Ленинград, 1950), с. 76–77.

<sup>116</sup> Д. И. Фонвизин, Собрание сочинений, в 2 т. (Москва—Ленинград, 1959), т. 1, с. 77–78

убеждений, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобожденного мужика, за русскую историю, одним словом, за всё, за всё ненавижда.<sup>117</sup>

Но не только эмигранты - и не только почти постоянное скопление богатых русских на курортах и морских берегах Германии и Франции - отрывались от собственной национальной почвы. Вся идея европейского воспитания заключалась в том, чтобы сделать русского человека столь же свободным и своим в Париже, как в Петербурге. Это воспитание рождало особый космополитизм - одну из самых прочных культурных сил России. Оно давало образованным классам ощущение принадлежности к более широкой европейской цивилизации, и именно в этом был залог высших достижений их национальной культуры в XIX веке. Пушкин, Толстой, Тургенев, Чайковский, Дягилев, Стравинский - все они соединяли свою русскость с европейской культурной идентичностью. Пишущий с вершины 1870-х годов Толстой передал почти магическое очарование этого европейского мира глазами Левина, когда тот влюбляется в дом Щербацких в *«Анне Карениной»* (1873–1876):

«Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственной, поэтической завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под эту поэтическую, покрывавшую их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременно на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисования, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках -- Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити в совершенно короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотой кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, -- всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.»<sup>118</sup>

Но именно это чувство принадлежности к Европе рождало и раздвоенность души. «У нас, русских, две родины: Россия и Европа», - писал Достоевский. Александр Герцен был типичным представителем этой вестернизированной элиты. После встречи с ним в Париже Достоевский сказал, что Герцен не эмигрировал - он эмигрантом родился. Писатель XIX

---

<sup>117</sup> Ф. Достоевский, *Дневник писателя*, пер. К. Lantz, в 2 т. (London, 1993), т. 2, с. 986.

<sup>118</sup> Л. Толстой, *Анна Каренина*, пер. R. Edmonds (Harmondsworth, 1974), с. 34.

века Михаил Салтыков-Щедрин метко определил это состояние внутренней эмиграции. «В России, - вспоминал он о 1840-х годах, - впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели “образ жизни”. Ходили на службу в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для беседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции».<sup>119</sup> Для этих европейских русских «Европа» была не просто местом. Это была область ума, которую они населяли через своё воспитание, язык, религию и весь строй взглядов.

Они были настолько погружены в иностранные языки, что многим трудно было говорить и писать на собственном. Княгиня Дашкова, громкая защитница русской культуры и единственная женщина-президент Российской Академии наук, получила блестящее европейское воспитание. «Насъ учили четверем языкам, и по-французски мы говорили свободно; государственный секретарь преподавал намъ итальянский языкъ, а Бехтеев давалъ уроки руссого, как мы плохо ни занимались им, - писала она в своих воспоминаниях.<sup>120</sup> Граф Карл Нессельроде, балтийский немец и русский министр иностранных дел с 1815 по 1856 год, не мог ни писать, ни даже толком говорить на языке страны, которую был призван представлять. Французский был языком высшего общества, а в семьях высокого происхождения - и языком всех личных отношений. Волконские, например, семья, чью судьбу мы ещё проследим в этой книге, между собой говорили почти исключительно по-французски. Мадемуазель Каллам, французская гувернантка в доме Волконских, вспоминала, что за почти пятьдесят лет службы ни разу не слышала, чтобы Волконские говорили по-русски - разве что отдавали приказания слугам. Это относилось даже к Марии (урождённой Раевской), жене князя Сергея Волконского, любимого адъютанта Александра I в 1812 году. Несмотря на то, что она выросла на Украине, где дворянские семьи охотнее говорили по-русски, Мария не умела как следует писать по-русски. Письма мужу она писала по-французски. Её устный русский, подхваченный у прислуги, был очень примитивен и переполнен крестьянскими оборотами. Парадоксально, но самые утончённые и культурные русские нередко владели только тем крестьянским вариантом русского, который усваивали в детстве от дворовых.<sup>121</sup> Такова и есть европейская культура толстовской «Войны и мира» - культура, в которой русские «говорили на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды».<sup>122</sup> По-русски они беседовали так, словно были французами, прожившими в России не более года.

Это пренебрежение к русскому языку особенно сильно и устойчиво держалось в самых высоких слоях аристократии, всегда бывших наиболее европеизированными и нередко по

---

<sup>119</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин, Полное собрание сочинений, в 20 т. (Москва, 1934–1947), т. 14, с. 111.

<sup>120</sup> Воспоминания княгини Е. Р. Дашковой (Leipzig, б. г.), с. 11, 32

<sup>121</sup> С. Sutherland, The Princess of Siberia: The Story of Maria Volkonsky and the Decembrist Exiles (London, 1984), с. 172–173. См. также: Волконский, Мои воспоминания, т. 2, с. 20.

<sup>122</sup> Толстой, Война и мир, с. 3.

происхождению иностранными. В некоторых семьях детям запрещалось говорить по-русски иначе как по воскресеньям и в церковные праздники. Княжне Екатерине Голицыной за всё время её воспитания дали только семь уроков родного языка. Её мать презирала русскую литературу и говорила, что Гоголь - «для кучеров». У детей Голицыных была французская гувернантка, и если она заставляла их говорящими по-русски, то наказывала, повязывая им на шею красную тряпицу в виде чёртова языка.<sup>123</sup> Подобное испытала и Анна Лелонг в Женской гимназии - лучшем заведении для дворянских дочерей в Москве. Девочек, пойманных на русском слове, заставляли целый день носить красный жестяной колокольчик и стоять, как провинившихся дурочек, в углу класса, без белых передников; даже за столом они должны были стоять и получали еду последними.<sup>124</sup> Других детей за русскую речь карали ещё строже - иногда даже запирали в комнате.<sup>125</sup> Похоже, русское слово, подобно бесу, следовало выбивать из дворянского ребёнка сызмальства, так что даже самые детские чувства надлежало выражать на чужом языке. Отсюда этот крошечный, но чрезвычайно красноречивый эпизод в гостинной Облонских в «Анне Карениной», когда маленькая дочь Долли входит в комнату, где мать разговаривает с Левиным:

- Как вы смешны, -- сказала Дарья Александрова с грустной усмешкой, несмотря на волнение Левина. -- Да, я теперь все больше и больше понимаю, -- продолжала она задумчиво. -- Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?

- Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но, где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия.

- Очень, очень вы смешны, -- повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо. -- Ну, хорошо, так как будто мы ничего про это не говорили. Зачем ты пришла, Таня? -- сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке.

- Где моя лопатка, мама?

- Я говорю по-французски, и ты так же скажи.

Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка по-французски; мать ей подсказала и потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину неприятным.

Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже не так мило, как прежде.

"И для чего она говорит по-французски с детьми? подумал он. -- Как это неестественно и фальшиво! И дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности", -- думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александровна все это двадцать раз уже

---

<sup>123</sup> Е. Хвоцинская, «Воспоминания», Русская старина, т. 89 (1898), с. 518

<sup>124</sup> А. К. Лелонг, «Воспоминания», Русский архив (1914), кн. 2, № 6/7, с. 393

<sup>125</sup> Е. И. Раевская, «Воспоминания», Русский архив (1883), кн. 1, № 1, с. 201.

передумала и все-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей.<sup>126</sup>

Подобные взгляды сохранялись в аристократических семьях весь XIX век и формировали воспитание некоторых самых творчески одарённых умов России. Толстой в 1820-х годах рос под надзором того самого немецкого наставника, которого столь памятно изобразил в «*Детстве*» (1852). Французскому его учила тётка. Но, кроме нескольких пушкинских стихотворений, с русской литературой он не сталкивался до девяти лет, пока не поступил в школу. Тургенева обучали французские и немецкие наставники, а читать и писать по-русски он научился лишь благодаря усилиям крепостного камердинера своего отца. Первую русскую книгу он увидел в восемь лет, проникнув в запертую комнату, где находилась русская библиотека его отца. Даже на рубеже XX века встречались русские дворяне, едва владевшие языком собственных соотечественников. Владимир Набоков описывал своего «дядю Руку», чудаковатого дипломата, так:

он говорил на изысканной смеси французского, английского и итальянского, которыми владел с несравненно большей лёгкостью, чем родным языком. Когда же он прибегал к русскому, то неизменно коверкал или путал какое-нибудь крайне идиоматическое, даже простонародное выражение; например, за столом он мог вдруг со вздохом сказать: «*Je suis triste et seul comme une bylinka v pole*» («Я грустен и одинок, как былинка в поле»)<sup>127</sup>.

Дядя Рука умер в Париже в конце 1916 года - одним из последних представителей старомирной русской аристократии.

Не менее далёким для вестернизованных элит было и православие. Религия вообще играла в воспитании аристократии второстепенную роль. Дворянские семьи, погружённые в светскую культуру французского Просвещения, мало заботились о том, чтобы воспитывать детей в русской вере, хотя по привычке и из соображений приличия продолжали крестить их в государственной религии и соблюдать её обряды. Вольтерьянские взгляды, господствовавшие во многих знатных домах, приносили с собой и большую религиозную терпимость - что было весьма кстати, поскольку во дворце, с его иностранными учителями и крепостной прислугой, могли соседствовать несколько разных вероисповеданий. Православие, поскольку оно в основном сохранялось в людских, оказывалось внизу социальной лестницы - ниже протестантизма немецких наставников и католичества французов. Этот порядок только укреплялся тем обстоятельством, что до 1870-х годов не существовало полной Библии на русском языке - лишь Псалтырь и Часослов. Герцен читал Новый Завет по-немецки и ходил в Москве в церковь вместе со своей матерью-лютеранкой. Но только в пятнадцать лет - и лишь потому, что это требовалось для поступления в Московский университет, - отец нанял для него русского священника обучать его основам православной веры. Толстой в детстве не получил никакого систематического религиозного

---

<sup>126</sup> Толстой, Анна Каренина, с. 292–293

<sup>127</sup> В. Набоков, *Память, говори* (Speak, Memory) (Harmondsworth, 1967), с. 57.

воспитания, а мать Тургенева откровенно презирала православие, считая его религией простонародья, и вместо обычных молитв за столом ежедневно велела читать французский перевод Фомы Кемпийского. Такое покровительственное отношение к православию как к «мужицкой вере» было для аристократии совершенно обыкновенным. Герцен рассказывает о хозяине обеда, который на вопрос, постные ли блюда он подаёт по внутреннему убеждению, ответил, что делает это «просто и единственно ради прислуги».<sup>128</sup>

На этом фоне господства Европы сатиры вроде княжнинской и херасковской начали определять русский характер в понятиях, отличных от западных ценностей. Эти писатели выдвинули противопоставление чужеземной искусственности и родной правды, европейского разума и русского сердца, или «души», - противопоставление, ставшее основой национального повествования XIX века. В центре этого дискурса лежал старый романтический идеал родной почвы - чистой, «органической» России, не испорченной цивилизацией. Петербург был ложью и суетой, самовлюблённым щёголем, неотрывно любующимся своим отражением в Неве. Подлинная Россия находилась в провинции - там, где не было притворства и чужих условностей, где сохранялись простые «русские» добродетели.

Для одних этот контраст воплощался в противопоставлении Москвы и Петербурга. Корни славянофильского движения уходят ещё в конец XVIII века и связаны с защитой старой дворянской культуры Москвы и её провинций от европеизирующего петровского государства. Говорили, что помещичье дворянство ближе к обычаям и вере народа, чем петровские царедворцы и чиновничьи карьеристы. Самым громким выразителем старой знати был писатель Михаил Щербатов. В своём «*Путешествии в землю Офирскую*» (1784) он изображает северную страну, которой царь Перега правит из вновь основанного города Переграба. Подобно Петербургу - очевидной мишени его сатиры, - Переграб космополитичен и утончён, но чужд национальным традициям Офира, чей народ по-прежнему хранит нравственные добродетели Квамо (читай: Москвы), прежней столицы. В конце концов жители Переграба восстают, город гибнет, и Офир возвращается к простой жизни Квамо. Подобные идиллические представления о неповреждённом прошлом были весьма обычны в эпоху Руссо. Даже Карамзин, западник и вовсе не ностальг по старому боярству, в повести «*Наталья*» (1792) идеализировал «добродетельную и простую жизнь наших предков», когда «русские были настоящими русскими».

Для других носителем русских добродетелей были традиции деревни. Фонвизин находил их в христианских началах «стародума» Стародума - домотканого деревенского мудреца из своей сатиры «*Недоросль*» (1782). «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время, - наставляет Стародум. - Всё прочее - мода».<sup>129</sup> Представление о подлинном русском «я», скрытом и подавленном чуждыми условностями петербургского общества, постепенно

---

<sup>128</sup> А. Герцен, *Былое и думы*, пер. С. Garnett (Berkeley, 1982), с. 242; J. Frank, *Dostoevsky: Seeds of Revolt, 1821-1849* (Princeton, 1977), с. 42-43.

<sup>129</sup> *Four Russian Plays*, пер. J. Cooper (Harmondsworth, 1972), с. 74

стало общим местом. Оно возникло из сентиментального культа сельской невинности - культа, лучшим воплощением которого стала слезливая повесть Карамзина «Бедная Лиза» (1792). Карамзин рассказывает историю простой цветочницы, обманутой в любви столичным щёголем и утопившейся в пруду. Повесть содержала все элементы этого нового видения общности: миф о здоровой русской деревне, откуда Лизу изгоняет нищета; развращённость города с его иностранными нравами; трагическую и чистосердечную русскую героиню; и всеобщий идеал брака по любви.

Поэты вроде Петра Вяземского идеализировали деревню как пристанище естественной простоты:

Здесь нет цепей,  
Здесь нет господства суеты.<sup>130</sup>

Писатели вроде Николая Новикова указывали на деревню как на место, где уцелели родные обычаи. Русский человек у себя дома, говорили они, лишь тогда, когда живёт близ земли.<sup>131</sup> Для Николая Львова - поэта, инженера, архитектора, фольклориста - главной русской чертой была стихийность:

Во чужих землях все по ниточке  
На безмен слова, на аршин шаги.  
Там сидят сидят, да подумают,  
А подумавши отдохнуть пойдут,  
Отдохнувши уж, трубку выкурят  
И задумавшись работать начнут.  
Нет ни песенки, нет ни шуточки.  
А у нашего православного  
Дело всякое между рук горит.  
Разговор его громовой удар,  
От речей его искры сыплются,  
По следам за ним коромыслом пыль!<sup>132</sup>

Львов противопоставлял связанную условностями жизнь европейских русских спонтанному поведению и творческой свободе русского крестьянства. Он призывал русских поэтов освободиться от стеснений классического канона и искать вдохновения в свободных ритмах народной песни и стиха.

Центральным для этого культа простой народной жизни было представление о её нравственной чистоте. Радикальный сатирик Александр Радищев первым заявил, что

---

<sup>130</sup> «Деревня», в кн.: П. А. Вяземский, Избранные стихотворения (Москва—Ленинград, 1935), с. 123.

<sup>131</sup> Сатирические журналы Н. И. Новикова (Москва—Ленинград, 1951), с. 65–67.

<sup>132</sup> «Неизданные стихи Н. А. Львова», Литературное наследство, № 9–10 (1933), с. 275.

высшие добродетели нации заключены в культуре её самых смиренных людей. Доказательством ему послужили... зубы. В «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) Радищев вспоминает, как встретил группу деревенских женщин, наряженных в традиционные праздничные одежды; они улыбались так широко, что открывались «ряды зубов белее чистой слоновой кости». Дамы аристократии, у которых зубы все были испорчены, «с ума бы сошли от таких зубов»:

Приезжайте сюда, любезные наши боярыньки московские и петербургские, посмотрите на их зубы, учитеесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками. Станьте, с которою из них вы хотите, рот со ртом; дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше, ваше, может быть, положит в них начало... болезни... боюсь сказать какой; хотя не покраснеете, но рассердитесь.<sup>133</sup>

## 6

В панорамах Санкт-Петербурга XVIII века открытое небо и простор соединяют город с более обширной вселенной. Прямые линии тянутся к далёкому горизонту, за которым, как нам предлагается вообразить, лежит остальная Европа, достигаемая без труда. Устремлённость России в Европу всегда была *raison d'être* Санкт-Петербурга. Он был не просто петровским «окном в Европу», как однажды назвал столицу Пушкин, но открытой дверью, через которую Европа входила в Россию, а русские вступали в мир.

Для образованных российских элит Европа была чем-то большим, нежели туристическое направление. Она была культурным идеалом, духовным источником их цивилизации, и путешествие туда было паломничеством. Пётр Великий стал образцом русского путешественника на Запад, ищущего самосовершенствования и просвещения. В течение следующих двухсот лет русские шли по следам Петра в его западном пути. Сыновья петербургской знати отправлялись в университеты Парижа, Гёттингена и Лейпцига. «Гёттингенская душа», дарованная Пушкиным Ленскому, модному студенту в *Евгении Онегине*, стала своего рода эмблемой европейского мирозерцания, разделявшегося поколениями русских дворян:

По имени Владимир Ленской,  
С душою прямо геттингенской,  
Красавец, в полном цвете лет,  
Поклонник Канта и поэт.  
Он из Германии туманной  
Привез учености плоды:  
Вольнолюбивые мечты,  
Дух пылкий и довольно странный,

---

<sup>133</sup> А. Радищев, Путешествие из Петербурга в Москву, пер. L. Wiener (Cambridge, Mass., 1958), с. 131.

Всегда восторженную речь  
И кудри черные до плеч.<sup>134</sup>

Все первопроходцы русского искусства обучались своему ремеслу за границей: Тредиаковский, первый настоящий поэт страны, был послан Петром учиться в Парижский университет; Андрей Матвеев и Михаил Аврамов, первые русские светские живописцы, были отправлены во Францию и Голландию; а, как мы уже видели, Березовский, Фомин и Бортнянский учились музыке в Италии. Михаил Ломоносов, первый выдающийся русский учёный и мыслитель, изучал химию в Марбурге, а затем вернулся на родину и помог основать Московский университет, ныне носящий его имя. Пушкин однажды заметил, что этот универсальный гений «сам был первым нашим университетом».<sup>135</sup>

Гран-тур был для аристократии важнейшим обрядом перехода. Освобождение дворян от обязательной государственной службы в 1762 году выпустило в мир наиболее честлюбивое и любознательное русское дворянство. Они прибывали толпами в Париж, Амстердам и Вену. Но любимым их направлением была Англия. Это была родина состоятельного и независимого земельного дворянства, подобием которого русские вельможи стремились стать. Их англоманья порой доходила до такой крайности, что граничила с отрицанием собственной самобытности. «Почему я не родилась англичанкой?» - восклицала княгиня Дашкова, частая посетительница и горячая поклонница Англии, воспевавшая её в своём знаменитом *Путешествии русской дворянки* (1775).<sup>136</sup> Русские стекались на остров, украшенный короной, чтобы познакомиться с последними модами и устройством его прекрасных домов, усвоить новые методы ведения поместья и пейзажного садоводства, приобрести предметы искусства, экипажи, парики и все прочие необходимые принадлежности цивилизованного образа жизни.

Путевая литература, сопровождавшая это движение, играла жизненно важную роль в формировании русского самовосприятия по отношению к Западу. *Письма русского путешественника* Карамзина (1791–1801), самое влиятельное произведение этого жанра, воспитали целое поколение в ценностях и идеях европейской жизни. Карамзин покинул Санкт-Петербург в мае 1789 года. Затем, проследовав сначала через Польшу, Германию и Швейцарию, он весной следующего года вступил в революционную Францию и вернулся в русскую столицу через Лондон. Карамзин дал своим читателям панораму идеального европейского мира. Он описывал его памятники, театры и музеи, его прославленных писателей и философов. Его «Европа» была мифическим царством, которое последующие путешественники, впервые узнавшие Европу через чтение его книги, будут искать, но

---

<sup>134</sup> Пушкин, Евгений Онегин, с. 37.

<sup>135</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 11, с. 249.

<sup>136</sup> Н. М. Hyde, *The Empress Catherine and the Princess Dashkov* (London, 1935), с. 107. Путешествие Дашковой («Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям») см. в кн.: Опыт трудов вольного российского собрания, вып. 2 (1775), с. 105–145.

никогда по-настоящему не найдут. Историк Михаил Погодин взял *Письма* с собой, отправляясь в Париж в 1839 году. Даже поэт Маяковский в 1925 году воспринимал этот город сквозь сентиментальную призму карамзинского сочинения.<sup>137</sup> *Письма* учили русских тому, как вести себя и как чувствовать себя культурными европейцами. В своих письмах Карамзин изображал себя вполне непринуждённым и принятым на равных в интеллектуальных кругах Европы. Он рассказывал о непринуждённых беседах с Кантом и Гердером. Он показывал себя приближающимся к культурным памятникам Европы не как какого-нибудь варварского скифа, но как человека утончённого и образованного, уже знакомого с ними по книгам и картинам. Общий эффект состоял в том, чтобы представить Европу чем-то близким России, цивилизацией, частью которой она является.

И всё же Карамзину удалось выразить и ту неуверенность, которую все русские ощущали в своей европейской самоидентификации. Куда бы он ни приезжал, ему постоянно напоминали о представлении Европы о России как об отсталой стране. По дороге в Кёнигсберг два немца «удивились, узнав, что русский может говорить на иностранных языках». В Лейпциге профессора отзывались о русских как о «варварах» и не могли поверить, что у них есть собственные писатели. Французы были ещё хуже: их снисходительность к русским как к ученикам своей культуры сочеталась с презрением к ним как к обезьянам, умеющим только подражать.

«У нас всякий, кто умеет только сказать: "Comment vous portez-vous?" {Как вы поживаете? (франц.) -- Ред.}, без всякой нужды коверкает французский язык, чтобы с русским не говорить по-русски, а в нашем так называемом хорошем обществе без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров, право, не хуже других; надобно только, чтобы наши умные светские люди, особливо же красавицы, поискали в нем выражений для своих мыслей. Всего же смешнее для меня наши остроумцы, которые хотят быть французскими авторами. Бедные! Они счастливы тем, что француз скажет об них: "Pour un etranger, Monsieur n'ecrit pas mal!" {Для иностранца вы, сударь, пишете недурно! (франц.) -- Ред.} »<sup>138</sup>

Порой подобные замечания побуждали Карамзина к преувеличенным утверждениям о достижениях России. Но по мере путешествия по Европе он приходил к убеждению, что её народы обладают таким образом мышления, который отличен от его собственного. Даже после целого столетия реформ ему казалось, что русские, быть может, европеизировались

---

<sup>137</sup> Лотман и Успенский, «"Письма русского путешественника" Карамзина и их место в развитии русской культуры», с. 531–532.

<sup>138</sup> Н. М. Карамзин, *Письма русского путешественника* (Ленинград, 1984), с. 12, 66. О французских взглядах см.: D. von Mohrenschildt, *Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-century France* (Columbia, 1936), с. 56–57.

лишь поверхностно. Они усвоили западные манеры и условности. Но европейские ценности и чувствительность ещё не проникли в их внутренний мир.<sup>139</sup>

Сомнения Карамзина разделяли многие образованные русские, пытавшиеся определить свою «европейскость». В 1836 году философ Чаадаев был объявлен сумасшедшим за то, что с отчаянием написал: хотя русские, быть может, и способны подражать Западу, они не в состоянии усвоить его сущностные нравственные ценности и идеи. И всё же, как указывал Герцен, Чаадаев лишь высказал то, что каждый мыслящий русский чувствовал уже многие годы. Эти сложные чувства - неуверенность, зависть и обида по отношению к Европе - и поныне определяют русское национальное сознание.

За пять лет до того, как Карамзин отправился в своё путешествие, писатель и чиновник Денис Фонвизин вместе с женой путешествовал по Германии и Италии. Это была уже не первая их поездка в Европу. В 1777–1778 годах они ездили по курортам Германии и Франции в поисках средства от фонвизинских мигреней. На сей раз причиной отъезда за границу стал удар, парализовавший его руку и сделавший его речь невнятной. Фонвизин вёл записи и писал домой письма со своими наблюдениями о заграничной жизни и о характере различных народов. Эти *Письма из путешествия* были первой попыткой русского писателя определить духовные традиции России как отличные от западных и даже превосходящие их.

Фонвизин отправлялся не как националист. Свободно владея несколькими языками, он выглядел типичным петербургским космополитом - в модном платье и напудренном парике. Он был знаменит остротой языка и изобретательным остроумием, которые с успехом употреблял в многочисленных сатирах против галломании. Но если его и отталкивали пустяки и фальшивые условности высшего света, то это объяснялось не столько ксенофобией, сколько его собственным чувством социального отчуждения и превосходства. Правда состояла в том, что Фонвизин был несколько мизантропом. Будь то в Париже или в Санкт-Петербурге, он питал презрение ко всему *beau monde* - к тому самому миру, в котором вращался как старший чиновник Министерства иностранных дел. В ранних письмах из-за границы Фонвизин изображал все народы одинаковыми. «Я увидел, - писал он из Франции в 1778 году, - что в любой земле дурного гораздо больше, чем доброго, что люди везде люди, что ум встречается редко, а дураков в каждой стране множество, и что, словом, наша страна не хуже никакой другой». Такая позиция культурного релятивизма покоилась на идее просвещения как основе международного сообщества. «Достойные люди, - заключал Фонвизин, - составляют между собою один народ, независимо от страны, из которой происходят».<sup>140</sup> Во время своего второго путешествия, однако, Фонвизин выработал более мрачный взгляд на Европу. Он без всяких обиняков обличал её достижения. Франция, символ «Запада», стала главной его мишенью - быть может, отчасти потому, что его не

---

<sup>139</sup> Карамзин, Письма русского путешественника, с. 338.

<sup>140</sup> Фонвизин, Собрание сочинений, т. 2, с. 449, 480.

принимали в салонах её столицы.<sup>141</sup> Париж был для Фонвизина «городом нравственного разложения», «лжи и лицемерия», способным лишь развратить молодого русского, приехавшего туда в поисках того решающего *comme il faut*. Это был город материальной жадности, где «деньги - Бог»; город тщеславия и внешних форм, где «наружные манеры и условности значат всё», а «дружба, честность и духовные ценности не значат ничего». Французы много говорили о своей «свободе», но действительное положение простого француза было состоянием рабства, ибо «бедный человек не может прокормить себя иначе как рабским трудом, так что “свобода” есть лишь пустое слово». Французские философы были, по его мнению, лживы, потому что не жили так, как учили. Итак, заключал он, Европа весьма далека от того идеала, каким её воображают русские, и пора признать, что «у нас жить лучше»:

Если кто-либо из моих молодых соотечественников, обладающих здравым смыслом, возмутится злоупотреблениями и беспорядками, господствующими в России, и в сердце своём начнёт от неё отдаляться, то нет лучшего средства обратить его к той любви, какую он должен питать к своему отечеству, чем как можно скорее отправить его во Францию.<sup>142</sup>

Те слова, которыми Фонвизин характеризовал Европу, с поразительной регулярностью возникали и в последующей русской путевой литературе. «Развращённая» и «упадочная», «лживая» и «поверхностная», «материалистическая» и «эгоистическая» - таков был русский лексикон Европы вплоть до *Писем из Франции и Италии* Герцена (1847–1852) и *Зимних заметок о летних впечатлениях* Достоевского (1862), путевого очерка, вторившего Фонвизину. В этой традиции путешествие служило лишь предлогом для философского рассуждения о культурном отношении между Европой и Россией. Постоянное повторение этих эпитетов означало возникновение идеологии - особого взгляда на Россию в зеркале Запада. Мысль о нравственном разложении Запада повторял почти каждый русский писатель от Пушкина до славянофилов. Герцен и Достоевский поставили её в центр своих мессианских видений русского предназначения - спасти падший Запад. Мысль о том, что французы лживы и мелки, стала общим местом. Для Карамзина Париж был столицей «поверхностного блеска и очарования»; для Гоголя в нём был «лишь внешний лоск, скрывавший бездну обмана и корысти».<sup>143</sup> Вяземский изображал Францию как «землю притворства и лжи». Цензор и литератор Александр Никитенко писал о французах: «Кажется, они родились с любовью к театру и склонностью его создавать - они созданы для представления. Чувства, принципы, честь, революция - всё у них превращается в игру, в зрелище».<sup>144</sup> Достоевский соглашался с тем, что французы обладают особым даром «симулировать чувства и любовь к природе».<sup>145</sup> Даже Тургенев, убеждённый западник,

---

<sup>141</sup> См.: Mohrenschildt, *Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-century France*, с. 40, 46.

<sup>142</sup> Фонвизин, *Собрание сочинений*, т. 2, с. 420, 439, 460, 476–477, 480–481, 485–486.

<sup>143</sup> Карамзин, *Письма русского путешественника*, с. 243; А. Р. Obolensky, *Food Notes on Gogol* (Machitoba, 1972), с. 109.

<sup>144</sup> А. Никитенко, *Дневник русского цензора*, под ред. и в пер. Н. Jacobson (Amherst, 1975), с. 213–214.

<sup>145</sup> R. Jakobson, «Der russische Frankreich-Mythus», *Slavische Rundschau*, 3 (1931), с. 639–640.

изображал их в *Дворянском гнезде* (1859) цивилизованными и обаятельными, но лишёнными духовной глубины и интеллектуальной серьёзности. Устойчивость этих культурных стереотипов показывает, до какой мифической величины разрослась «Европа» в русском сознании. Эта воображаемая «Европа» имела больше общего с потребностью определить «Россию», чем с самим Западом. Идея «России» не могла существовать без «Запада» - точно так же, как и «Запад» не мог существовать без «Востока». «Европа была нам нужна как идеал, как укор, как пример, - писал Герцен. - Если бы она не была всем этим, её пришлось бы выдумать».<sup>146</sup>

Русские были неуверенны в своём месте в Европе - и поныне остаются таковыми, - и эта двойственность служит ключом к их культурной истории и самосознанию. Живя на окраине континента, они никогда не были вполне уверены, там ли их судьба. Принадлежат ли они Западу или Востоку? Пётр повернул свой народ лицом к Западу и велел ему подражать его путям. С этого момента прогресс нации должен был измеряться по иностранному мерилу; все её нравственные и эстетические нормы, вкусы и общественные манеры определялись им. Образованные классы смотрели на Россию европейскими глазами, осуждая собственную историю как «варварскую» и «тёмную». Они искали одобрения Европы и хотели, чтобы она признала их равными себе. По этой причине они испытывали известную гордость за достижения Петра. Его имперское государство, более великое и могущественное, чем любая другая европейская держава, обещало привести Россию к современности. Но в то же время они болезненно сознавали, что Россия - не «Европа»: она постоянно не дотягивала до этого мифического идеала и, возможно, никогда не могла стать его частью. Внутри Европы русские жили с чувством неполноценности. «Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, -- с подбострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая, - писал Герцен в 1850-х годах.<sup>147</sup> Но отвержение со стороны Запада могло в равной мере порождать и чувство обиды, и чувство превосходства над ним. Если Россия не может стать частью «Европы», то ей следует тем более гордиться своей «инаковостью». В этой националистической мифологии «русской душе» приписывалась более высокая нравственная ценность, чем материальным достижениям Запада. Ей вверялась христианская миссия спасения мира.

## 7

Идеализация Европой России была глубоко поколеблена Французской революцией 1789 года. Якобинское царство террора подорвало русскую веру в Европу как в силу прогресса и просвещения. «“Век Просвещения”! Я не узнаю тебя в крови и пламени», - с горечью писал

---

<sup>146</sup> А. И. Герцен, «Джон-Стюарт Милль и его книга “On Liberty”», в кн.: *Собрание сочинений*, в 30 т. (Москва, 1954–1965), т. 11, с. 66.

<sup>147</sup> Герцен, *Былое и думы*, с. 97.

Карамзин в 1795 году.<sup>148</sup> Для него, как и для многих людей его круга, казалось, что волна убийств и разрушения «опустошит Европу», уничтожив «средоточие всех искусств и наук и драгоценные сокровища человеческого ума»<sup>149</sup>. Быть может, история и впрямь есть бесплодный круговорот, а не путь прогресса, где «истина и заблуждение, добродетель и порок вечно повторяются»? Неужели возможно, что «человеческий род продвинулся столь далеко лишь затем, чтобы вновь быть низринутым в глубины варварства, подобно камню Сизифа»?<sup>150</sup>

Тоска и тревога Карамзина были широко разделяемы европейскими русскими его времени. Воспитанные в убеждении, что из Франции приходит только доброе, его соотечественники теперь видели в ней одно зло. Худшие их опасения, казалось, подтверждались ужасными рассказами эмигрантов, бежавших из Парижа в Санкт-Петербург. Русское правительство разорвало отношения с революционной Францией. В политическом отношении дворянство, некогда франкофильское, стало франкофобским, и «французы» превратились в синоним непостоянства и безбожия, особенно в Москве и в провинции, где русские политические обычаи и настроения всегда смешивались с иностранной условностью. В Петербурге, где аристократия была всецело погружена во французскую культуру, реакция против Франции носила более постепенный и сложный характер: там было немало либеральных дворян и патриотов (подобных Пьеру Безухову в *Войне и мире*), которые сохраняли свои профранцузские и наполеоновские взгляды даже после того, как Россия вступила в войну с Францией в 1805 году. Но даже в столице аристократия сознательно стремилась освободиться от интеллектуальной империи французов. Употребление галлицизмов в петербургских салонах стало считаться дурным тоном. Русские дворяне отказывались от Клико и Лафита в пользу кваса и водки, от *haute cuisine* - в пользу щей.

В этом поиске новой жизни на «русских началах» идеал Просвещения о всеобщей культуре был наконец оставлен ради национального пути. «Будем русскими, а не копиями французов, - писала княгиня Дашкова; - останемся патриотами и сохраним характер наших предков».<sup>151</sup> Карамзин также отрёкся от «человечности» ради «национальности». До Французской революции он придерживался того взгляда, что «главное - быть не славянами, но людьми. Что хорошо для Человека, не может быть дурно для русских; всё, что англичане или немцы изобрели на пользу человечеству, принадлежит и мне, ибо я тоже человек».<sup>152</sup> Но к 1802 году Карамзин уже призывал своих собратьев-писателей принять русский язык и «сделаться самими собою»:

---

<sup>148</sup> Аглая, кн. 2 (1795), с. 68.

<sup>149</sup> Карамзин, Сочинения, т. 3, с. 349.

<sup>150</sup> Там же, с. 444.

<sup>151</sup> В. П. Семенников (ред.), Материалы для истории русской литературы (С.-Петербург, 1914), с. 34.

<sup>152</sup> Цит. по: Н. Rogger, *National Consciousness in Eighteenth-century Russia* (Cambridge, Mass., 1960), с. 247.

« Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гармониею, нежели французский; способнее для излияния души ... как человек, так и народ начинает всегда подражанием; но должен со временем быть сам собою, чтобы сказать: "Я существую морально!" »<sup>153</sup> Здесь прозвучал призыв, под знаменем которого поднялся новый национализм, расцветший в эпоху 1812 года.

---

<sup>153</sup> Карамзин, Сочинения, т. 7, с. 198.



## ДЕТИ 1812 ГОДА

1

На вершине наполеоновского нашествия на Россию, в августе 1812 года, князь Сергей Волконский докладывал императору Александру в Петербурге. Александр спросил молодого флигель-адъютанта о настроении войск. «Ваше величество, - отвечал князь, - от главнокомандующего до простого солдата всякий готов положить жизнь за дело отечества». Император задал тот же вопрос о настроении простого народа, и Волконский вновь отвечал с уверенностью: «Вы можете ими гордиться. Каждый крестьянин - патриот». Но когда речь зашла об аристократии, князь умолк. Лишь после настойчивого вопроса императора Волконский наконец произнёс: «Ваше величество, мне стыдно принадлежать к этому сословию. Тут были только слова».<sup>1</sup> Это была решающая минута всей жизни Волконского - жизни, в которой отразилась история его страны и его сословия в эпоху национального самопознания.

Было немало офицеров, утративших гордость за свой класс, но обретших своих соотечественников в рядах армии 1812 года. Для таких князей, как Волконский, должно было стать потрясением открытие, что именно крестьяне оказались подлинными патриотами нации: ведь дворян воспитывали в убеждении, что именно аристократия есть «истинные сыны отечества». Но для некоторых, как для Волконского, это откровение стало и знаком надежды - надежды на то, что именно в крепостных нация найдёт своих будущих граждан. Эти либеральные дворяне поднимутся за «нацию» и за «народное дело» в том, что войдёт в историю под именем восстания декабристов 14 декабря 1825 года. [*Здесь они будут именоваться декабристами, хотя это название они получили лишь после 1825 года*] Их союз с крестьянскими солдатами на полях сражений 1812 года и определил их демократические убеждения. Как позднее писал один из декабристов, «мы были дети 1812 года».<sup>2</sup>

Сергей Волконский родился в 1788 году в одной из древнейших русских дворянских фамилий. Волконские вели своё происхождение от князя XIV века Михаила Черниговского, стяжавшего славу - и впоследствии причисленного к лику святых - за участие в московской борьбе за освобождение от монгольских орд; в награду он получил владение на реке Волконе, к югу от Москвы, от которой и пошло имя династии.<sup>3</sup> По мере роста Московского государства Волконские возвышались как военачальники и наместники на службе у великих князей и царей. К началу XIX века они были, если и не богатейшим из древних

---

<sup>1</sup> С. М. Волконский, Записки (С.-Петербург, 1901), с. 193

<sup>2</sup> М. И. Муравьев-Апостол, Воспоминания и письма (Петроград, 1922), с. 17.

<sup>3</sup> А. Богданов, Сказание о волконских князьях (Москва, 1989), с. 4-5.

родов, то, во всяком случае, родом, стоявшим ближе других к императору Александру и его семье. Мать Сергея, княгиня Александра, была обер-гофмейстериной вдовствующей императрицы, вдовы убитого императора Павла, и в этом качестве - первой нецарственной дамой империи. Большую часть времени она жила в личных апартаментах императорской семьи в Зимнем дворце, а летом - в Царском Селе (где школьник Пушкин однажды вызвал скандал, вскочив на эту холодную и чопорную женщину, приняв её за её хорошенькую французскую спутницу Жозефину). Дядя Сергея, генерал Павел Волконский, был близким спутником императора Александра, а при его преемнике Николае I занял пост министра двора, фактически главы царского дома, и удерживал его более двадцати лет. Его брат Никита был женат на женщине, Зинаиде Волконской, которая стала фрейлиной при дворе Александра и, возможно, менее почтенно, его любовницей. Сестра Софья была на короткой ноге со всеми главными европейскими монархами. В доме Волконских в Петербурге - в красивом особняке на Мойке, где Пушкин снимал комнаты в нижнем этаже, - хранился фарфоровый сервиз, подаренный ей английским королём Георгом IV. «Это был не подарок короля, - любила говорить Софья, - а дар мужчины женщине».<sup>4</sup> Она была замужем за ближайшим другом императора, князем Петром Михайловичем Волконским, ставшим его генерал-квартирмейстером.

И сам Сергей почти вырос как бы членом императорской семьи. Он учился в пансионе аббата Николя на Фонтанке - заведении, созданном французскими эмигрантами и покровительствуемом самыми модными семействами Петербурга. Оттуда он перешёл в Пажский корпус, самое привилегированное из военных училищ, а окончив его, естественно, поступил в гвардию. В сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 году молодой корнет был ранен пулей в бок. Благодаря хлопотам матери его перевели в императорский штаб в Петербурге, где он вошёл в избранный круг блистательных молодых людей - флигель-адъютантов государя. Царь любил этого серьёзного юношу с прелестными манерами и мягкой речью, хотя его преклонение перед Наполеоном - культ, разделяемый тогда многими дворянами, как Пьер Безухов в начале «Войны и мира», - при дворе не одобрялось. Чтобы отличить его от трёх братьев (тоже флигель-адъютантов) и других Волконских в своём окружении, Александр называл его «месье Серж».<sup>5</sup> Князь ежедневно обедал с императором. Он был одним из немногих, кому позволялось входить в личные покои государя без доклада. Великий князь Николай - будущий Николай I, - бывший на девять лет моложе Сергея, в детстве просил адъютанта расставлять его игрушечных солдатиков в

---

<sup>4</sup> С. М. Волконский, О декабристах: по семейным воспоминаниям (Москва, 1994), с. 77.

<sup>5</sup> Волконский, Записки, с. 136-137. Тремя другими флигель-адъютантами были Никита и Николай Волконские (два брата Сергея) и князь Пётр Михайлович Волконский (его шурин). Генерал Павел Волконский также принадлежал к ближайшему кругу императора.

построении наполеоновских войск при Аустерлице.<sup>6</sup> Двадцать лет спустя он отправил своего товарища детских игр в Сибирь.

В 1808 году Волконский вернулся в действующую армию и за следующие четыре года принял участие более чем в пятидесяти сражениях, дослужившись к двадцати четырём годам до чина генерал-майора. Нашествие Наполеона поколебало те профранцузские взгляды, которые он разделял со значительной частью петербургской элиты. В нём пробудилось новое чувство «нации», основанное на добродетелях простого народа. Патриотический дух простых людей в 1812 году - героизм солдат, сожжение Москвы, чтобы не отдать её французам, и крестьянские партизаны, заставившие Великую армию в снегах поспешно отступать обратно в Европу, - всё это представлялось ему признаками национального пробуждения. «Россия прославлена своими солдатами-крестьянами», - писал он брату с усеянного трупами Бородинского поля 26 августа 1812 года. «Пусть они только крепостные, но эти люди сражались как граждане за своё отечество»<sup>7</sup>.

Он был не одинок в подобных демократических мыслях. Друг Волконского - и будущий декабрист - поэт Фёдор Глинка был столь же поражён патриотизмом простого народа. В своих «Письмах русского офицера» (1815) он противопоставлял крепостных, «готовых защищать родину косами», аристократии, которая «разбежалась по своим поместьям», когда французы приблизились к Москве.<sup>8</sup> Многие офицеры стали признавать нравственное достоинство крестьянина. «Каждый день, - писал один из них, - я встречаю крестьян-солдат, столь же достойных и разумных, как любой дворянин. Эти простые люди ещё не испорчены нелепыми условностями нашего общества и обладают своими нравственными понятиями, ничуть не худшими наших».<sup>9</sup> Здесь, казалось, скрывался духовный потенциал для национального освобождения и нравственного возрождения. «Если бы только мы могли найти общий язык с этими людьми, - писал один из будущих декабристов, - они быстро поняли бы права и обязанности гражданина».<sup>10</sup>

Ничто в прежней жизни этих офицеров не готовило их к потрясению такого открытия. Как дворян, их с детства учили смотреть на отцовских крепостных почти как на бессловесных животных, лишённых высших чувств и добродетелей. Но война внезапно бросила их в крестьянский мир: они жили в деревнях, делили пищу и страхи с простыми солдатами и порой, будучи ранены или заблудившись без припасов, зависели от солдатской смётки, чтобы выжить. По мере того как росло их уважение к простому народу, менялось и отношение к подчинённым. «Мы отвергли суровую дисциплину старой системы, -

---

<sup>6</sup> C. Sutherland, *The Princess of Siberia: The Story of Maria Volkonsky and the Decembrist Exiles* (London, 1984), с. 111.

<sup>7</sup> РГИА, ф. 844, оп. 2, д. 42.

<sup>8</sup> Ф. Глинка, *Письма русского офицера* (Москва, 1815), ч. 5, с. 46–47, 199.

<sup>9</sup> ЦГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 362, л. 183.

<sup>10</sup> *Восстание декабристов*, в 11 т. (Москва, 1925–1958), т. 1, с. 267.

вспоминал Волконский, - и старались через дружбу с нашими людьми завоевать их любовь и доверие».<sup>11</sup> Некоторые устраивали полевые школы, обучая солдат грамоте. Другие собирали их в кружки, где говорили об освобождении крестьян и социальной справедливости. Несколько будущих декабристов составили «армейские конституции» и иные проекты, призванные улучшить быт солдат. Эти документы, основанные на внимательном изучении солдатского уклада, можно считать зачаточными формами той этнографической работы, которая так увлечёт славянофилов и демократическую интеллигенцию 1830–1840-х годов. Волконский, например, написал подробные «Записки о жизни казаков в наших батальонах», где предлагал ряд прогрессивных мер - государственные ссуды, общественные хлебные магазины, учреждение народных школ, - чтобы облегчить участь беднейших казаков и уменьшить их зависимость от богатых.<sup>12</sup>

После войны эти демократически настроенные офицеры возвратились в свои имения с новым чувством долга перед крепостными. Многие, как Волконский, брали на своё содержание сыновей погибших солдат или, как он, давали средства на образование тех крепостных, которые проявили способности в рядах армии 1812 года<sup>13</sup>. Между 1818 и 1821 годами граф Михаил Орлов и Владимир Раевский, оба члены Союза благоденствия, из которого позднее вырастет декабристский заговор, учреждали солдатские школы, где распространяли радикальные идеи политических преобразований. Благотворительность некоторых бывших офицеров доходила до поразительной степени. Павел Семёнов посвятил себя благу своих крепостных с жаром человека, обязанных им жизнью. В Бородинском сражении пуля попала в икону, подаренную ему солдатами и носимую им на груди. Семёнов устроил для своих крепостных лечебницу и превратил свой дворец в приют для военных вдов и их семей. Он умер от холеры в 1830 году - заразившись ею от крестьян, живших у него в доме.<sup>14</sup>

Для некоторых офицеров было недостаточно чувствовать себя на стороне народа: они хотели и сами принять облик простых людей. Они русифицировали свою одежду и поведение, стремясь приблизиться к солдатам. Употребляли русские слова в военной речи. Курили тот же табак, что и рядовые; и, в нарушение петровского запрета, отпускали бороды. Отчасти это была и необходимость. Денис Давыдов, знаменитый предводитель казачьих партизан, обнаружил, как трудно набирать людей в деревнях: крестьянам его блестящий гусарский мундир казался чужим и «французским». Как он записал в дневнике, ему пришлось сначала «заключить мир с деревнями», прежде чем он вообще смог с ними заговорить. «Я убедился, - писал Давыдов, - что в народной войне недостаточно говорить общим языком: нужно ещё сойти к народу и в нравах, и в одежде. Я надел мужицкий

---

<sup>11</sup> Волконский, Записки, с. 387.

<sup>12</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 9, лл. 1–9.

<sup>13</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 21, лл. 9–10.

<sup>14</sup> Н. П. Грот, Из семейной хроники. Воспоминания для детей и внуков (С.-Петербург, 1900), с. 1–8.

кафтан, отпустил бороду и вместо ордена Св. Анны повесил образ Николая Чудотворца».<sup>15</sup> Но это принятие народных обычаев было не просто уловкой находчивых офицеров. Это было заявлением о своей национальной принадлежности.

Волконский командовал партизанской бригадой и преследовал наполеоновские войска до самого Парижа в 1813–1814 годах. В следующем году, имея в дорожном сундуке двадцать тысяч рублей, карету и трёх слуг, предоставленных матерью, он поехал в Вену на мирный конгресс. Затем возвратился в Париж, где вращался в кругах политических реформаторов - Шатобриана и Бенжамена Констана, - а оттуда отправился в Лондон, где увидел в действии принципы конституционной монархии, наблюдая в Палате общин обсуждение безумия Георга III. Волконский намеревался ехать дальше - в Соединённые Штаты, «страну, пленившую воображение всей русской молодёжи своей независимостью и демократией», - но возобновление войны после бегства Наполеона с Эльбы заставило его вернуться в Петербург.<sup>16</sup> И всё же, как и у многих декабристов, его взгляды глубоко преобразились благодаря краткому соприкосновению с Западом. Оно укрепило его убеждение в личном достоинстве всякого человека - одном из основных догматов декабризма, лежавшем в основе неприятия самодержавия и крепостного права. Именно тогда окончательно сложилась его вера в меритократию - вера, усиленная беседами с офицерами Наполеона, поразившими его свободой мысли и уверенностью в себе. Скольких Нэев и Даву погубила в России жёсткая сословная система армии? Европа заставила его острее почувствовать русскую отсталость, отсутствие элементарных прав и общественной жизни, и помогла ему сосредоточиться на необходимости следовать европейским либеральным началам.

Молодые офицеры, вернувшиеся из Европы, были почти незнаемы для своих родителей. Россия, в которую они приехали в 1815 году, была почти той же, какой они её оставили. Но сами они сильно изменились. Общество было шокировано их «грубыми мужицкими манерами».<sup>17</sup> И, без сомнения, в этих военных повадках было нечто от позы - удаль фронтовика. Но они отличались от старшего поколения гораздо большим, чем манеры и костюм. Иные были их художественные вкусы и интересы, политика и общий взгляд на жизнь: они отвернулись от пустых развлечений бальных залов (хотя не от собственных кутежей) и погрузились в серьёзные занятия. Как объяснял один из них: «Мы участвовали в величайших событиях истории, и потому было невыносимо возвращаться к пустому существованию Петербурга и слушать праздную болтовню стариков о так называемых добродетелях прошлого. Мы ушли вперёд на сто лет».<sup>18</sup> Как писал Пушкин в стихотворении «К Чаадаеву» в 1821 году [*Автор ошибается, это не стихотворение «К Чаадаеву», это*

---

<sup>15</sup> Д. Давыдов, Сочинения (Москва, 1962), с. 320

<sup>16</sup> Волконский, Записки, с. 327.

<sup>17</sup> Е. Лаврентьева, Светский этикет пушкинской поры (Москва, 1999), с. 198, 290–291.

<sup>18</sup> Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина (Москва, 1951), с. 9.

отрывок из незавершённой комедии об игроке, написанный Пушкиным 5 июня 1821 года в Кишинёве - прим.перев.]:

По счастью, модный круг совсем теперь не в моде.  
Мы, знаешь ли, мы жить привыкли на свободе.  
Не ездим в общества, не знаем наших дам.  
Мы их оставили на жертву старикам,  
Любезным баловням осьмнадцатого века..<sup>19</sup>

Особенно презирали танцы, считая их пустой тратой времени. Люди 1812 года являлись на балы при шпаге, чтобы этим показать отказ участвовать в подобных увеселениях. Салон отвергался как форма искусственности. Молодые люди удалялись к занятиям и, подобно Пьеру в «Войне и мире», искали в поэзии и философии ключ к более простой и правдивой жизни. Вместе декабристы составляли настоящую «университетскую корпорацию». Среди них был энциклопедический круг знаний - от фольклора, истории и археологии до математики и естественных наук; они печатали учёные труды, стихи и прозу в лучших журналах своего времени.

Это чувство отчуждённости от родительского поколения и света было общим для всех «детей 1812 года» - и поэтов, и философов, и офицеров. Оно наложило глубокий отпечаток на культурную жизнь России XIX века. «Людей прошлого века» определяла служилая этика петровского государства. Они высоко ценили чин и иерархию, порядок и подчинение рациональным правилам. Александр Герцен - который, собственно, и родился в 1812 году, - вспоминал, как его отец не терпел всякого проявления чувств. «Отец мой не любил никакой разнузданности, никакой откровенности; он всё это называл фамильярностью, как всякое чувство - сентиментальностью».<sup>20</sup> Но дети, выросшие в эпоху Герцена, были сплошь порыв и непосредственность. Они восставали против старого дисциплинарного духа, обвиняя его в «рабской психологии России», и искали пути утверждения своих принципов в литературе и искусстве.<sup>21</sup> Многие уходили из военной и гражданской службы, стремясь жить честнее. Как говорит Чацкий в «Горе от ума» Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».

Трудно преувеличить, до какой степени русский культурный ренессанс XIX века был восстанием против служилой этики XVIII столетия. По господствующему тогда представлению чин буквально определял дворянина: ни в одном другом языке слово «чиновник» не происходило от слова «чин». Быть дворянином значило занять своё место на государственной службе - либо гражданской, либо военной; покинуть же эту службу,

---

<sup>19</sup> «К Чаадаеву» (1821), в кн.: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, в 17 т. (Москва, 1937–1949), т. 7, с. 246.

<sup>20</sup> А. Герцен, Былое и думы, пер. С. Garnett (Berkeley, 1973), с. 68

<sup>21</sup> И. Виноградов, «Записки П. И. Виноградова», Русская старина, т. 22 (1878), с. 566.

даже ради того, чтобы стать поэтом или художником, считалось почти падением. «Служба ныне в России - то же, что сама жизнь, - писал один чиновник в 1810-х годах, - мы покидаем свои места, как будто идём в могилу».<sup>22</sup> Немыслимо было, чтобы дворянин сделался художником или поэтом иначе как в свободные часы после службы или как любитель в усадьбе. Даже великий поэт XVIII века Гавриил Державин сочетал поэзию с военной карьерой, а потом с должностями сенатора и губернатора и, наконец, министра юстиции в 1802–1803 годах.

В начале XIX века, с ростом книжного рынка и рынка живописи, независимому писателю или художнику стало возможным - пусть и не легко - существовать собственным трудом. Пушкин был одним из первых дворян, отказавшихся от службы и избравших литературу «ремеслом»; этот выбор воспринимался как унижение рода и «сход с чина». Писателя Н. И. Греча обвиняли в том, что он опозорил свою дворянскую семью, уйдя в 1810-х годах со службы и сделавшись литературным критиком.<sup>23</sup> Музыка тоже считалась неподходящей профессией для дворянина. Римского-Корсакова родители толкнули на морскую службу, считая музыку «шалостью».<sup>24</sup> Мусоргского отправили в Школу гвардейских подпрапорщиков, а затем определили в Преображенский полк. Чайковский поступил в Училище правоведения, где семья ожидала, что он вырастет для гражданской службы и забудет, по крайней мере отложит, свою детскую страсть к музыке. Стать художником или писателем значило для дворянина порвать с традициями своего класса. Ему приходилось, по существу, заново изобретать себя как «интеллигента» - члена интеллигенции, чей долг определялся уже не служением государству, а служением «нации».

Из великих русских писателей XIX века лишь двое - Гончаров и Салтыков-Щедрин - когда-либо занимали высокие должности на государственной службе, хотя почти все они были дворянами. Гончаров был цензором. Но Салтыков-Щедрин при этом оставался неутомимым критиком власти и как вице-губернатор, и как писатель всегда становился на сторону «маленького человека». Для этой литературной традиции стало аксиомой, что писатель должен защищать человеческие ценности против служебной этики, основанной на чине. Так, в гоголевских *«Записках сумасшедшего»* (1835) герой-чиновник насмешливо говорит о высокопоставленном лице: «Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу». Подобным образом и в чеховском рассказе *«Упразднили!»* (1891) мы смеёмся над отставным майором Ижицей,

---

<sup>22</sup> Ф. Ф. Вигель, *Записки*, ч. 1 (Москва, 1891), с. 159.

<sup>23</sup> Лаврентьева, *Светский этикет пушкинской поры*, с. 22.

<sup>24</sup> Н. Римский-Корсаков, *Моя музыкальная жизнь (My Musical Life)* (London, 1989), с. 9.

ввергнутым в смятение тем, что прежний его чин исчез: « А чёрт меня знает, кто я! - сказал Ижица. - Уж больше года, как майоров нет. »<sup>25</sup>

Не желая подчиняться отцовским правилам и скучая от рутины гражданской службы, молодые люди пушкинского поколения искали освобождения в поэзии, философии и пьяном разгуле. Как замечает Сильвио в пушкинских «**Повестях Белкина**» (1831), дикая жизнь «была модой нашего времени».<sup>26</sup> Кутёж воспринимался как знак свободы, как утверждение личности против регламентации армии и бюрократии. Волконский и его товарищи-офицеры демонстрировали свою независимость от раболопных привычек высшего света, насмехаясь над теми, кто сопровождал императора и его семью на воскресных прогулках по Петербургу.<sup>27</sup> Другой офицер, декабрист Михаил Лунин, был знаменит своими выходками в защиту свободной воли. Однажды он обратил своё блестящее остроумие против генерала, запретившего офицерам «оскорблять приличие» купаньем в море в Петергофе, модном курорте на Финском заливе близ Петербурга, где стоял гарнизон. В один жаркий день Лунин дождался приближения генерала, бросился в воду прямо в полной форме, вытянулся во фронт и отдал ему честь. Изумлённый генерал спросил, что всё это значит. «Купаюсь, - ответил Лунин, - и, чтобы не нарушить приказ вашего превосходительства, купаюсь таким образом, чтобы не оскорбить приличия».<sup>28</sup>

Молодые люди декабристского круга много времени проводили в кутежах. Некоторые, как серьёзный Волконский, этого не одобряли. Но другие, как Пушкин и его друзья из «Зелёной лампы», этого вольного сообщества либертинов и поэтов, видели в борьбе за свободу нечто карнавальное. Они находили свободу в таком образе жизни и таком искусстве, которое освобождалось от душащих условностей света.<sup>29</sup> Когда они играли в карты, спорили и пили с друзьями, они могли расслабиться и говорить «по-русски» - на лёгком, разговорном языке улицы. Именно этот язык лежал в основе многого у Пушкина: стиль, соединявший политический и философский словарь с лексикой интимного чувства и грубой разговорностью кабака и публичного дома.

Дружба, по Пушкину, была спасительной благодатью этих буйных оргий:

Она не ведает, что можно дружно жить  
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,

---

<sup>25</sup> Н. Гоголь, Записки сумасшедшего и другие повести (Diary of a Madman and Other Stories), пер. R. Wilks (Harmondsworth, 1972), с. 32; А. Чехов, «Упразднили!», в кн.: Полное собрание сочинений, в 30 т. (Москва, 1974–1983), т. 3, с. 226.

<sup>26</sup> Полное собрание прозаических повестей Александра Сергеевича Пушкина (The Complete Prose Tales of Alexander Sergeyevitch Pushkin), пер. G. Aitken (London, 1966), с. 73.

<sup>27</sup> Волконский, Записки, с. 130–131.

<sup>28</sup> Н. А. Белоголовый, Воспоминания и другие статьи (Москва, 1898), с. 70.

<sup>29</sup> См.: Ю. Лотман, «Декабрист в повседневной жизни», в кн.: Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX века (С.-Петербург, 1994), с. 360–364

Что резвых шалостей под легким покрывалом  
И ум возвышенный и сердце можно скрыть..<sup>30</sup>

То же говорил и Волконский о своих сослуживцах. Они охотно нарушали внешний кодекс приличия, но во взаимных отношениях сдерживали себя нравственно «узами товарищества».<sup>31</sup> В декабристской среде существовал настоящий культ братства. Позднее он перерастёт в культ коллектива, столь важный для политической жизни русской интеллигенции. Дух этот впервые выковался в полку - естественной «семье» патриотов. Николай Ростов в *«Войне и мире»* вновь обретает это чувство общности, когда возвращается из отпуска.

Он впервые почувствовал, насколько тесны узы, связывавшие его с Денисовым и со всем полком. Подъезжая [к лагерю], Ростов испытал то же чувство, какое испытывал, подъезжая к своему дому в Москве. Когда он увидел первого гусара в расстёгнутом мундире их полка, когда узнал рыжего Дементьева и увидел прикольные верёвки у гнедых лошадей, когда Лаврушка радостно закричал своему барину: «Граф приехал!» — и Денисов, только что спавший на постели, растрёпанный выбежал из мазанки обнять его, и офицеры собрались вокруг приветствовать нового прибывшего, — Ростов испытал то же чувство, как тогда, когда его обнимали мать, отец и сестра; слёзы радости душили его, и он не мог говорить. Полк тоже был домом — столь же неизменно дорогим и драгоценным, как родительский дом.<sup>32</sup>

Через такие узы молодые офицеры начинали высвобождаться из жёсткой иерархии служилого государства. Они чувствовали, что принадлежат к новой общности - если угодно, к «нации» патриотической добродетели и братства, где дворянин и крестьянин живут в согласии. Поиски русской национальности в XIX веке начинаются именно в рядах армии 1812 года.

Такой взгляд разделяли все культурные фигуры, входившие в орбиту декабристов: не только их прямые участники, но и куда более многочисленные сочувствующие, «декабристы без декабря». Большинство поэтов этого круга - Гнедич, Востоков, Мерзляков, Одоевский, Рылеев, а в меньшей степени и Пушкин, - были заняты гражданскими темами. Отрекаясь от эстетики и пустых забот карамзинского салонного стиля, они писали эпические стихи в суровой, нарочито спартанской манере. Многие сравнивали храбрость солдат в недавних войнах с подвигами античной Греции и Рима. Некоторые возводили ежедневный крестьянский труд в ранг патриотической жертвы. Долг поэта, по их убеждению, состоял в том, чтобы быть гражданином, посвятить себя национальному делу.

---

<sup>30</sup> «К Каверину», в кн.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 1, с. 238.

<sup>31</sup> Волконский, Записки, с. 4

<sup>32</sup> Л. Толстой, Война и мир, пер. Л. и А. Мод (Oxford, 1998), с. 417-418.

Как и все «люди 1812 года», они видели свою деятельность как часть демократической миссии - узнать народ и просветить его, чтобы соединить общество на русских началах. Они отвергали просветительскую мысль о том, что «все народы должны стать одинаковыми», и, по словам одного критика, призывали «всех наших писателей отражать характер русского народа».<sup>33</sup>

Пушкин занимает в этом начинании особое место. Он был слишком юн - в 1812 году ему исполнилось лишь тринадцать, - чтобы сражаться с французами, но, будучи лицеистом, видел, как гвардейцы царскосельского гарнизона уходили на войну. Эта память осталась с ним на всю жизнь:

Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать ...<sup>34</sup>

Хотя Пушкин, в отличие от них, никогда не бывал в Европе, он дышал её воздухом. Ещё мальчиком он погрузился во французские книги из библиотеки отца. Первые свои стихи, в восьмилетнем возрасте, он сочинил по-французски. Позднее открыл для себя Байрона. Это европейское наследие укрепилось в годы, проведённые между 1812 и 1817 годами в Царскосельском лицее - школе, устроенной по образцу наполеоновских лицеев и многое воспринявшей от английских публичных школ, с особым вниманием к гуманитарным предметам: древним и новым языкам, словесности, философии и истории. В лицее царил настоящий культ дружбы. Завязанные там дружеские связи ещё более укрепили в Пушкине представление о европейской России как о духовной сфере:

Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он, как душа, неразделим и вечен -  
Неколебим, свободен и беспечен,  
Срастался он под сенью дружных муз.  
Куда бы нас ни бросила судьбина  
И счастье куда б ни повело,  
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;  
Отечество нам Царское Село.<sup>35</sup>

Но при всей своей западной направленности Пушкин был поэтом с русским голосом. Родителями он был почти заброшен и фактически вырос при своей крестьянской няне, чьи

---

<sup>33</sup> Я. А. Галинковский, *Корифей, или Ключ литературы* (С.-Петербург, 1802), кн. 2, с. 170.

<sup>34</sup> «Пора, мой друг, пора» (19 октября 1836), в кн.: *Полное собрание сочинений Александра Пушкина* (The Complete Works of Alexander Pushkin), в 15 т., под ред. I. Sproat et al. (Norfolk, 1999-), т. 3, с. 253-254.

<sup>35</sup> Пушкин, *Полное собрание сочинений*, т. 2, с. 425

песни и сказки стали для него неиссякаемым источником вдохновения. Он любил народные предания и часто ездил на ярмарки, подхватывая крестьянские рассказы и обороты речи, которые затем вплетал в стихи. Как и офицеры 1812 года, он чувствовал, что долг помещика как покровителя своих крепостных важнее, чем его долг перед государством.<sup>36</sup>

То же чувство он переносил и в литературу: ему хотелось выковать письменный язык, способный обращаться ко всем. Декабристы сделали это одной из главных частей своей программы. Они требовали, чтобы законы писались таким языком, «который всякий гражданин мог бы понять».<sup>37</sup> Они пытались создать русскую политическую лексику взамен привозных слов. Глинка призывал написать историю войны 1812 года языком «простым, ясным и понятным людям всех сословий, ибо люди всех сословий участвовали в освобождении нашего отечества».<sup>38</sup> Создание национального языка представлялось ветеранам 1812 года способом сохранить дух боевого братства и выковать новую нацию вместе с простым человеком. «Чтоб узнать добрый, смышленный народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться... быть с ним в розхмель, на престольном празднике, ездить с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тянуться с ним в обозе, драться вместе стена на стену»<sup>39</sup>. Именно пушкинская поэзия впервые установила эту связь. Она заговорила с самым широким кругом читателей - и с грамотным крестьянином, и с князем - на общем русском языке. Завершить создание этого национального языка в стихах и пользоваться им с необычайной лёгкостью и грацией - в этом и состоял подвиг Пушкина.

## 2

Волконский возвратился в Россию в 1815 году и принял командование Азовским полком на Украине. Подобно всем декабристам, он был глубоко разочарован той реакционной переменой, какую совершил император Александр, на которого он прежде возлагал свои либеральные надежды. В первые годы своего царствования (1801–1812) Александр провёл ряд политических реформ: цензура была немедленно смягчена; Сенат был возведён в ранг высшего судебного и административного учреждения империи - важного противовеса личной власти государя; начала складываться более современная система управления с учреждением восьми новых министерств и верхней законодательной палаты - Государственного совета, устроенного по образцу наполеоновского *Conseil d'État*. Были даже предприняты некоторые предварительные меры, чтобы побудить дворян освободить

---

<sup>36</sup> См. его Письмо № 8 в «Романе в письмах», написанном в 1829 году, но опубликованном (и то с купюрами) лишь в 1857-м, в кн.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 8, с. 52–54.

<sup>37</sup> Восстание декабристов, т. 7, с. 222.

<sup>38</sup> Сын отечества (1816), ч. 27, с. 161.

<sup>39</sup> А. Бестужев, «Письмо к Н. А. и К. А. Полевым, 1 января 1832», Русский вестник (1861), т. 32, с. 319.

своих крепостных. Либеральным офицерам Александр казался одним из них - человеком прогрессивных и просвещённых взглядов.

Император поручил своему советнику Михаилу Сперанскому составить проекты конституции, во многом основанные на *Code Napoléon*. Если бы Сперанскому удалось настоять на своём, Россия двинулась бы к тому, чтобы стать конституционной монархией, управляемой бюрократическим государством, основанным на законе. Но Александр колебался в осуществлении предложений своего министра, а когда Россия вступила в войну с Францией, эти проекты были осуждены консервативным дворянством, подозревавшим их уже потому, что они были «французскими». Сперанский пал - и на его место, как главное влияние второй половины царствования Александра, с 1812 по 1825 год, выступил военный министр генерал Аракчеев. Жестокий режим аракеевских военных поселений, где солдат-крепостных силою обращали к земледелию и иным трудовым повинностям на пользу государства, приводил в ярость людей 1812 года, чьи либеральные симпатии родились из уважения к солдатам в строю. Когда император, вопреки их сопротивлению, упорно продолжал насаждать военные поселения и подавил крестьянское сопротивление кровавой расправой, декабристы пришли в бешенство. «Насильственное введение так называемых военных колоний было встречено с изумлением и враждой, - вспоминал барон Владимир Штейгель. - Показывает ли история что-либо подобное этому внезапному захвату целых деревень, этому овладению домами мирных земледельцев, этому отчуждению всего, что они и их предки нажили, и их невольному превращению в солдат?»<sup>40</sup> Эти офицеры шли на Париж в надежде, что Россия станет современным европейским государством. Они мечтали о конституции, при которой каждый русский крестьянин пользовался бы правами гражданина. Но вернулись они людьми разочарованными - в Россию, где крестьянин по-прежнему считался рабом. Как писал Волконский, возвращаться в Россию после Парижа и Лондона было «как будто возвращаться в доисторическое прошлое».<sup>41</sup>

Князь вошёл в круг Михаила Орлова, давнего школьного товарища и сослуживца по кампании 1812 года, тесно связанного с главными декабристскими вождями на юге. На этом этапе декабристское движение было небольшим и тайным кружком заговорщиков. Оно началось в 1816 году, когда шесть молодых гвардейских офицеров основали то, что поначалу назвали Союзом спасения, - тайную организацию, стремившуюся к установлению конституционной монархии и народного парламента. С самого начала офицеры разделились в вопросе о том, каким образом этой цели достигнуть: одни хотели дождаться смерти царя, а затем отказаться присягать новому государю, если только он не подпишет их реформы (нарушить уже принесённую присягу ныне царствующему императору они не желали); но Александру не было ещё и сорока лет, и некоторые горячие головы, вроде

---

<sup>40</sup> Цит. по: A. Ulam, *Russia's Failed Revolutions: From the Decembrists to the Dissidents* (New York, 1981), с. 21.

<sup>41</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 63, л. 57.

Михаила Лунина, склонялись к мысли о цареубийстве. В 1818 году общество распалось, и его более умеренные участники тотчас же вновь объединились в Союз благоденствия с довольно расплывчатой программой просветительной и благотворительной деятельности, но без ясного плана восстания, хотя граф Орлов, один из видных членов Союза, и устроил смелую подачу царю прошения об уничтожении крепостного права. Пушкин, имевший друзей в декабристском стане, охарактеризовал их заговор как не более чем игру в этих бессмертных, но в царские времена не подлежавших печати строках, предназначавшихся для *Евгения Онегина*, действие которого отнесено к 1819 году:

Сначала эти заговоры  
Между Лафитом и Клико  
Лишь были дружеские споры,  
И не входила глубоко  
В сердца мятежная наука,  
Все это было только скука,  
Безделье молодых умов,  
Забавы взрослых шалунов.<sup>42</sup>

Не имея плана восстания, Союз сосредоточился на расширении своей рыхлой сети ячеек в Петербурге и Москве, Киеве, Кишинёве и других провинциальных гарнизонных городах, вроде Тульчина, где помещался штаб Второй армии и где Волконский был деятельным участником общества. Волконский вступил в заговор Орлова через масонскую ложу в Киеве - обычный путь вступления в декабристское движение, - там же он познакомился и с молодым декабристским вождём, полковником Павлом Ивановичем Пестелем. Подобно Волконскому, Пестель был сыном провинциального губернатора в Западной Сибири (их отцы были добрыми друзьями).<sup>43</sup> Он с отличием сражался под Бородином, дошёл до Парижа и возвратился в Россию с головой, полной европейских идей и идеалов. Пушкин, познакомившийся с Пестелем в 1821 году, говорил, что это «один из самых оригинальных умов, которых я знаю».<sup>44</sup> Пестель был самым радикальным из декабристских вождей. Харизматический и властный, он, несомненно, испытал влияние якобинцев. В своём манифесте *Русская правда* он призывал к низвержению царя, установлению революционной республики (при необходимости посредством временной диктатуры) и уничтожению крепостного права. Он мыслил себе национальное государство, правящее в интересах великороссов. Прочие национальные группы - финны, грузины, украинцы и прочие - должны были быть принуждены отрешиться от своей обособленности и «стать русскими». Лишь евреи, по мнению Пестеля, стояли вне возможности «ассимиляции» и потому подлежали изгнанию из России. Подобные взгляды были обычны среди

---

<sup>42</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 6, с. 525.

<sup>43</sup> Архив декабриста С. Г. Волконского, т. 1: До Сибири (Петроград, 1918), с. 149

<sup>44</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 12, с. 303.

декабристов, когда они в своём сознании пытались преобразить Российскую империю по образцу европейских национальных государств. Даже Волконский, человек сравнительно просвещённых взглядов, называл евреев «жидками».<sup>45</sup>

К 1825 году Пестель стал главным организатором заговора против царя. У него была небольшая, но преданная группа сторонников в Южном обществе, сменившем на юге Союз спасения, и плохо продуманный план арестовать царя во время смотра войск под Киевом в 1826 году, а затем двинуться на Москву и, при помощи своих союзников из Северного общества в Петербурге, захватить власть. Пестель привлёк Волконского к своему заговору, поручив ему координировать связи с Северным обществом и с польскими националистами, согласившимися примкнуть к движению в обмен на независимость в случае успеха. Северное общество возглавляли два человека: Никита Муравьёв, молодой гвардейский офицер 1812 года, успевший завести хорошие связи при дворе; и поэт Рылеев, привлекавший офицеров и либеральных чиновников на свои «русские обеды», где щи и ржаной хлеб подавались вместо европейских блюд, под водку произносились тосты за освобождение России от двора, подчинённого иностранным влияниям, и пелись революционные песни. Политические требования Северного общества были умереннее, чем у группы Пестеля: конституционная монархия с парламентом и гражданскими свободами. Волконский сновал между Петербургом и Киевом, собирая поддержку для задуманного Пестелем восстания. «Никогда я не был так счастлив, как тогда, - писал он позднее. - Я гордился сознанием, что делаю нечто для народа - освобождаю его от тирании».<sup>46</sup> Хотя он был влюблён в Марию Раевскую, а потом женился на ней, свою прекрасную молодую невесту он видел чрезвычайно мало.

Мария была дочерью генерала Раевского, прославленного героя 1812 года, которого хвалил даже Наполеон. Родившаяся в 1805 году, Мария встретила Волконского в семнадцать лет; для своих лет она отличалась необычайной грацией и красотой. Пушкин называл её «дочерью Ганга» за тёмные волосы и смуглый колорит. Поэт был другом Раевских и путешествовал вместе с генералом и его семейством по Крыму и Кавказу. По некоторым известиям, Пушкин влюбился в Марию. Он вообще часто влюблялся в прекрасных юных девушек, но на сей раз, быть может, чувство было серьёзным, если судить по появлению Марии в его поэзии. По крайней мере две пушкинские героини - княжна Мария в *Бахчисарайском фонтане* (1822) и молодая черкешенка в *Кавказском пленнике* (1820–1821) - возможно, были навеяны её образом. Быть может, знаменательно, что обе эти поэмы - о безответной любви. Воспоминание о Марии, играющей в крымских волнах, вероятно, вдохновило его на строки в *Евгении Онегине*:

---

<sup>45</sup> Волконский, Записки, с. 212

<sup>46</sup> Там же, с. 402.

Я помню море пред грозою:  
Как я завидовал волнам,  
Бегущим бурной чередою  
С любовью лечь к ее ногам!  
Как я желал тогда с волнами  
Коснуться милых ног устами!<sup>47</sup>

Волконскому было поручено привлечь Пушкина к заговору. Пушкин принадлежал к широкому культурному кругу декабристов и имел множество друзей среди заговорщиков (позднее он уверял, что, не перебеги ему дорогу заяц и не внуши суеверного страха к поездке, он, быть может, действительно отправился бы в Петербург, чтобы соединиться с друзьями на Сенатской площади). Между тем он был сослан в своё имение Михайловское близ Пскова, ибо его стихи вдохновляли декабристов:

Товарищ, верь: взойдет она,  
Звезда пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена.<sup>48</sup>

Кажется, однако, Волконский побоялся подвергать великого поэта сопряжённым с этим рискам - и потому не исполнил данного Пестелю обещания. Да и, конечно, Волконский не мог не знать, что Пушкин был слишком знаменит своей нескромностью и слишком связан при дворе, чтобы не стать обузой.<sup>49</sup> Слухи о восстании уже ходили по Петербургу, так что, вероятнее всего, император Александр знал о планах декабристов. Волконский, по крайней мере, был в этом убеждён. Во время смотра его полка государь мягко предостерег его: «Больше внимания вашим войскам и немного меньше - моему правительству, которое, к сожалению, мой милый князь, не ваше дело».<sup>50</sup>

Восстание было назначено на конец лета 1826 года. Но эти планы были поспешно перенесены из-за внезапной смерти императора и династического кризиса, вызванного отказом великого князя Константина принять престол в декабре 1825 года. Пестель решил воспользоваться моментом для восстания и вместе с Волконским выехал из Киева в Петербург, где вёл шумные споры с Северным обществом о средствах и сроках выступления. Трудность заключалась в том, как склонить на свою сторону рядовых солдат, не проявлявших никакой склонности ни к царевубийству, ни к вооружённому мятежу.

---

<sup>47</sup> А. Пушкин, Евгений Онегин, пер. J. Falen (Oxford, 1990), с. 19.

<sup>48</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 2, с. 72.

<sup>49</sup> О роли Волконского в вовлечении Пушкина см.: С. М. Волконский, О декабристах: по семейным воспоминаниям (Москва, 1994), с. 35–36.

<sup>50</sup> Волконский, Записки, с. 434.

Заговорщики имели лишь самое смутное представление о том, как это сделать. Они мыслили восстание как военный переворот, производимый сверху по приказу; будучи сами командирами, они основывали свою стратегию на мысли, что могут каким-то образом опереться на прежний союз с солдатами. Они отвергли предложения примерно пятидесяти младших офицеров, сыновей мелких чиновников и небогатых помещиков, чья организация, Объединённые славяне, призвала старших руководителей вести агитацию среди солдат и крестьян. «Наши солдаты хороши и просты, - объяснял один из декабристских вождей. - Много они не думают и должны служить лишь орудием для достижения наших целей».<sup>51</sup> Волконский разделял этот взгляд. «Я убеждён, что поведу свою бригаду, - писал он другу накануне мятежа, - по той простой причине, что обладаю доверием и любовью солдат. Как только восстание начнётся, они последуют моему приказу».<sup>52</sup>

В конце концов декабристские вожди сумели увлечь за собой в Петербурге лишь около трёх тысяч солдат - гораздо меньше ожидавшихся двадцати тысяч, но всё же, возможно, достаточно для перемены правительства, если бы всё было хорошо организовано и исполнено с твёрдостью. Но ни того, ни другого не было. 14 декабря в гарнизонах по всей столице солдаты были собраны для церемонии принесения присяги новому царю, Николаю I. Три тысячи мятежников отказались присягать и, с развёрнутыми знамёнами и под бой барабанов, вышли на Сенатскую площадь, где столпились перед Медным всадником и стали кричать: «Константин и Конституция!» За два дня до того Николай решил принять корону, после того как Константин ясно дал понять, что принимать её не намерен. Константин пользовался большой популярностью среди солдат, и когда декабристские вожди узнали эту новость, они распространили листки, ложно сообщавшие, будто Николай узурпировал престол, и призывавшие «бороться за свободу и человеческое достоинство». Большинство солдат, собравшихся на Сенатской площади, не имели ни малейшего понятия, что такое «конституция» (некоторые полагали, что это жена Константина). Они не выказали никакого желания захватывать Сенат или Зимний дворец, как то предполагалось торопливыми замыслами заговорщиков. Пять часов солдаты стояли на лютom морозе, пока Николай, приняв командование верными ему войсками, не приказал открыть огонь по мятежникам. Шестьдесят солдат были убиты; остальные разбежались.

Через несколько часов все главари восстания были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость (полиция всё время знала, кто они такие). У заговорщиков ещё мог оставаться некоторый шанс на успех на юге, где можно было соединиться с поляками и двинуться на Киев, и где сосредоточены были главные революционные силы - около шестидесяти тысяч войск в гарнизонах. Но офицеры, прежде заявлявшие о своей готовности поддержать мятеж, теперь были так поражены событиями в Петербурге, что не осмелились действовать. Волконский нашёл лишь одного офицера, готового

---

<sup>51</sup> Ulam, *Russia's Failed Revolutions*, с. 44.

<sup>52</sup> Волконский, *Записки*, с. 421.

присоединиться к нему в призыве к восстанию, и в итоге те несколько сотен солдат, что выступили на Киев 3 января, были без труда рассеяны правительственной артиллерией.<sup>53</sup> Волконский был арестован два дня спустя, когда ехал в Петербург, чтобы в последний раз увидеть Марию. У полиции был ордер на его арест, собственноручно подписанный царём.

Пятьсот декабристов были арестованы и подвергнуты допросам, но большинство из них в течение ближайших недель отпустили, как только они дали показания, нужные для обвинения главных вождей. На суде над ними - первом показательном процессе в русской истории - сто двадцать один заговорщик были признаны виновными в государственной измене, лишены дворянских титулов и отправлены на каторгу в Сибирь. Пестель и Рылеев были повешены вместе с тремя другими в гротескной сцене во дворе крепости, несмотря на то что смертная казнь в России официально была отменена. Когда пятерых поставили на виселицу и люки под ногами были раскрыты, трое из осуждённых оказались слишком тяжёлыми для верёвок и, оставшись живы, рухнули вниз, в ров. «Что за несчастная страна! - воскликнул один из них. - Здесь даже вешать как следует не умеют».<sup>54</sup>

Из всех декабристов никто не был ближе ко двору, чем Волконский. Его мать, княгиню Александру, можно было увидеть в Зимнем дворце, где она с улыбкой состояла при вдовствующей императрице, тогда как он сам сидел как раз по ту сторону Невы, в Петропавловской крепости, заключённый по высочайшему соизволению. Николай был суров к Волконскому. Быть может, он чувствовал себя преданным человеком, с которым когда-то играл в детстве. Благодаря вмешательству матери Волконский избежал смертного приговора, постигшего других вождей. Но двадцать лет каторги, а затем пожизненное поселение в Сибири были достаточно драконовским наказанием. Князя лишили титула и всех медалей, полученных им на полях войн против Франции. Он потерял власть над всеми своими землями и крепостными. Отныне его дети должны были официально считаться «государственными крестьянами».<sup>55</sup>

Граф Александр Бенкендорф, шеф полиции, сославший его в изгнание, был старым школьным другом Волконского. Оба они служили офицерами в кампанию 1812 года. Ничто лучше не показывает природу петербургского дворянства - маленького общества кланов, где все знали друг друга, а большинство семейств было так или иначе в родстве. [В 1859 году сын Волконского, Миша, женится на внучке графа Бенкендорфа. Один из его двоюродных братьев женится на дочери Бенкендорфа (С. М. Волконский, О декабристах: по семейным воспоминаниям, с. 114)]. Отсюда и тот стыд, который испытывали Волконские из-за позора Сергея. И всё же трудно постичь их попытку стереть самую память о нём. Старший брат Сергея, Николай Репнин, вовсе от него отрёкся и за долгие годы,

---

<sup>53</sup> ГАРФ, ф. 48, оп. 1, д. 19

<sup>54</sup> Ulam, Russia's Failed Revolutions, с. 5

<sup>55</sup> РГИА, ф. 1405, оп. 24, д. 1344, л. 12; ГАРФ, ф. 1146, оп. 1, д. 2028, л. 6

которые Волконский провёл в Сибири, не написал ему ни единого письма. Типичный придворный, Николай опасался, что царь не простит ему, если он станет переписываться со ссыльным, - как будто царь был не способен понять чувства брата. Такая мелочность была характерна для аристократии, воспитанной в том, чтобы подчинять все ценности двору. И мать Сергея поставила свою верность царю выше собственных чувств к сыну. Она присутствовала на коронации Николая I и в тот самый день получила бриллиантовую брошь ордена Святой Екатерины, когда Сергей, с тяжёлыми кандалами на ногах, отправился в долгий путь в Сибирь. Старинного придворного закала дама, княгиня Александра всегда была строгой ревнительницей «приличного поведения». На другой день она слегла и оставалась в постели, безутешно плача. «Я только надеюсь, - говорила она своим посетителям, - что в семье больше не окажется иных чудовищ».<sup>56</sup> Несколько лет она не писала сыну. Сергей был глубоко уязвлён материнским отвержением: оно способствовало его собственному разрыву с нравами и ценностями аристократии. В глазах матери гражданская смерть Сергея была и буквальной смертью. *Il n'ya plus de Serge*, - говорила старая княгиня своим придворным друзьям. «Эти слова, - писал Сергей в одном из последних писем в 1865 году, - преследовали меня всю мою жизнь в изгнании. Они были сказаны не только для успокоения её совести, но и для оправдания её собственного предательства по отношению ко мне».<sup>57</sup>

Семья Марии была не менее непримирима. Они винили её за брак и пытались склонить воспользоваться правом просить о его расторжении. У них были основания думать, что она может так поступить. У Марии был новорождённый сын, о котором следовало думать, и вовсе не было ясно, дозволит ли ей взять его с собой, если она последует за Сергеем в Сибирь. К тому же, по-видимому, в браке она не была вполне счастлива. За прошедший год - а это был лишь первый год их супружества - она почти не видела мужа, который находился на юге и был всецело поглощён заговором, и жаловалась своим родным, что находит это положение «совершенно невыносимым».<sup>58</sup> И всё же Мария избрала разделить судьбу мужа. Она отреклась от всего и последовала за Сергеем в Сибирь. Предупреждённая царём, что ей придётся оставить сына, Мария ответила ему: «Мой сын счастлив, но мой муж несчастен, и я нужнее ему».<sup>59</sup>

Трудно с точностью сказать, что происходило тогда в душе Марии. Когда она делала свой выбор, она не знала, что, последовав за Сергеем, будет лишена права когда-либо вернуться в Россию, - об этом ей сообщили лишь в Иркутске, на границе между Россией и каторжным краем Сибири, - и потому возможно, что она ожидала возвратиться в Петербург. Так, по крайней мере, думал её отец. Но повернула бы она назад, если бы знала заранее?

---

<sup>56</sup> Архив декабриста С. Г. Волконского, с. хix, ххiii.

<sup>57</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 61, л. 65.

<sup>58</sup> ГАРФ, ф. 1146, оп. 1, д. 2028, л. 7.

<sup>59</sup> ГАРФ, ф. 1146, оп. 1, д. 2028, л. 13

Мария действовала из чувства долга жены. Именно к этому чувству обращался Сергей, когда писал ей из Петропавловской крепости накануне отправления в Сибирь. «Ты сама должна решить, как тебе поступить. Я ставлю тебя в жестокое положение, но, *chère amie*, я не могу вынести мысли о вечной разлуке с моей законной женой!»<sup>60</sup> Такое чувство долга было глубоко внушено Марии её дворянским воспитанием. Романтическая любовь, сколь бы нередка она ни была, не занимала в супружеских отношениях русского аристократического общества начала XIX века первого места. И, по-видимому, и в решении Марии она не играла главной роли. В этом отношении Мария резко отличалась от Александры Муравьевой, жены декабриста Никиты Муравьева, происходившей из куда менее аристократической среды, нежели Мария Волконская. Именно романтическая любовь побудила Александру оставить всё ради каторжной ссылки в Сибири - она даже признавалась, что её «грех» состоит в том, что она «любит своего Никитишчину больше, чем Бога».<sup>61</sup> Поведение Марии, напротив, определялось культурными нормами общества, где вовсе не было необычным, чтобы дворянка следовала за мужем в Сибирь. Этапы арестантов нередко сопровождались повозками, везшими их жён и детей в добровольное изгнание.<sup>62</sup> Существовал, кроме того, обычай, по которому семьи офицеров следовали за ними в военных походах. Жёны говорили о «нашем полке» или «нашей бригаде» и, по словам одного современника, «всегда были готовы разделить с мужьями все опасности и положить жизнь»<sup>63</sup>. Отец Марии, генерал Раевский, брал жену и детей в свои главные походы - до тех пор, пока его маленький сын не был ранен, когда пуля пробилла ему штаны, когда он собирал ягоды неподалёку от поля битвы.<sup>64</sup>

Высказывалось и предположение, что Мария откликалась на литературный культ героической жертвы.<sup>65</sup> Она читала поэму Рылеева «Наталья Долгорукая» (1821–1823), которая, быть может, действительно послужила нравственным вдохновением и для её собственного поведения. Поэма основывалась на подлинной истории молодой княгини, любимой дочери фельдмаршала Бориса Шереметева, которая последовала за своим мужем, князем Иваном Долгоруким, в Сибирь, когда тот был сослан туда императрицей Анной в 1730 году. [*Получив разрешение вернуться в Санкт-Петербург в 1730-х годах, Наталья Долгорукая стала первой женщиной в русской истории, написавшей свои мемуары*]

Забыла я родной свой град,  
Богатство, почести и знатность,  
Чтоб с ним делить в Сибири хлад

---

<sup>60</sup> «Неизданные письма М. Н. Волконской», Труды Государственного исторического музея, вып. 2 (Москва, 1926), с. 16.

<sup>61</sup> Цит. по: К. Бестужев, Жёны декабристов (Москва, 1913), с. 47.

<sup>62</sup> Лотман, «Декабрист в повседневной жизни», с. 352–353.

<sup>63</sup> Ф. Ф. Вигель, Записки, ч. 1 (Москва, 1891), с. 12.

<sup>64</sup> К. Батюшков, Сочинения (Москва—Ленинград, 1934), с. 373.

<sup>65</sup> Лотман, «Декабрист в повседневной жизни», с. 353–354.

## И испытать судьбы превратность..<sup>66</sup>

Обожавший дочь старый генерал был убеждён, что Мария последовала за Сергеем в Сибирь не потому, что была «влюблённой женой», а потому, что была «влюблена в мысль о себе как о героине».<sup>67</sup> Старик-генерал до конца своих дней страдал из-за добровольного изгнания любимой дочери - он винил в этом Сергея, - и это привело к трагическому разрыву между ним и Марией. Мария чувствовала отцовское неодобрение в его редких письмах в Сибирь. Не в силах более сдерживать свою тоску, она писала ему в 1829 году (в последнем письме, которое он получил перед смертью):

Я знаю, что вы уже некоторое время перестали меня любить, хотя не знаю, чем заслужила ваше неудовольствие. Страдать - мой удел в этом мире, но причинять страдание другим - это свыше моих сил... Как могу я быть счастлива хотя бы минуту, если благословение, которое вы даёте мне в письмах, не даётся также и Сергею?<sup>68</sup>

В канун Рождества Мария простилась со своим сыном и семьёй и выехала в Москву, в первый этап своего пути в Сибирь. В старой столице она остановилась у своей золовки, княгини Зинаиды Волконской, знаменитой красавицы и близкой подруги покойного императора Александра, названной Пушкиным «царицей муз и красоты». Зинаида была хозяйкой блистательного литературного салона, где, что для того времени было редкостью, не декламировали французских стихов. Пушкин и Жуковский, Вяземский и Дельвиг, Баратынский, Тютчев, братья Киреевские и польский поэт Мицкевич - все были там завсегдатаями. Накануне отъезда Марии был устроен особый вечер, на котором читал Пушкин. Позднее он сочинил своё «Послание в Сибирь» (1827):

Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье,  
Не пропадёт ваш скорбный труд  
И дум высокое стремление.  
Несчастью верная сестра,  
Надежда в мрачном подземелье  
Разбудит бодрость и веселье,  
Придёт желанная пора:

Любовь и дружество до вас  
Дойдут сквозь мрачные затворы,

---

<sup>66</sup> Рылеев, Полное собрание стихотворений (Ленинград, 1971), с. 168

<sup>67</sup> ГАРФ, ф. 1146, оп. 1, д. 2028, л. 12.

<sup>68</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 5, № 22, л. 88.

Как в ваши каторжные норы  
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,  
Темницы рухнут - и свобода  
Вас примет радостно у входа,  
И братья меч вам отдадут.<sup>69</sup>

Через год после прибытия Марии в Сибирь её маленький сын Николенька умер. Мария никогда не переставала его оплакивать. Под конец своей долгой жизни, после тридцати лет каторжной ссылки, когда кто-то спросил её, что она чувствует к России, она ответила: «Единственная родина, которую я знаю, - это тот клочок травы, под которым лежит мой сын».<sup>70</sup>

### 3

Марии потребовалось восемь недель, чтобы добраться до Нерчинска - каторжной колонии на русско-китайской границе, где её сосланный муж, Сергей Волконский, отбывал каторжные работы на серебряных рудниках. От Москвы до Иркутска, который в то время был последним оплотом русской цивилизации в Азии, было около шести тысяч километров по занесённой снегом степи, в открытой повозке; а оттуда - опаснейшее путешествие на телеге и санях по ледяным горным дорогам вокруг Байкала. В Иркутске губернатор пытался отговорить Марию от дальнейшего пути, предупреждая, что, если она поедет дальше, особым царским распоряжением, касающимся всех жён декабристов, она будет лишена всех своих прав. Вступив в пределы каторжной зоны за Иркутском, княгиня сама становилась узницей. Она лишалась непосредственного распоряжения своим имуществом, права держать при себе горничную или каких-либо иных крепостных и даже в случае смерти мужа уже никогда не могла бы возвратиться в ту Россию, которую оставила. Таков был смысл документа, который она подписала, чтобы последовать за мужем в Нерчинск. Но какие бы сомнения ни мучили её относительно принесённой жертвы, они тотчас рассеялись при первом же посещении его тюремной камеры.

В первую минуту я ничего не разглядела, так как там было темно; открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страдания. Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени поцеловала его кандалы, а потом – его самого.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Полное собрание сочинений Александра Пушкина, т. 3, с. 42.

<sup>70</sup> ГАРФ, ф. 1146, оп. 1, д. 2028, л. 7 об.

<sup>71</sup> Записки княгини М. Н. Волконской (Чита, 1960), с. 66.

Нерчинск был мрачным, ветхим поселением из деревянных изб, скучившихся вокруг тюремных палисадов. Мария сняла маленькую избушку у одного из местных монгольских поселенцев. «Она была до того тесна, что, когда я ложилась на полу на своем матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь».<sup>72</sup> Это жилище она делила с Катей Трубецкой, ещё одной молодой княгиней, последовавшей за своим декабристом-мужем в Сибирь. Они жили на тот небольшой доход, который власти позволяли им получать с конфискованных имений. Впервые в жизни им пришлось самим выполнять всю ту работу, которую прежде за них совершала огромная дворцовая прислуга. Они научились стирать, печь хлеб, выращивать овощи и готовить пищу на дровяной печи. Вскоре они забыли вкус к французской кухне и стали жить по-русски, ели черный хлеб, запивая его квасом.<sup>73</sup> Сила характера Марии - подкреплённая укладом той культуры, которую она оставила позади, - была залогом её выживания в Сибири. Она со всей строгостью соблюдала все дни памяти святых и дни рождения своих родных в России, давно уже забывших о её собственном дне рождения. Она неизменно считала нужным одеваться как следует - в меховую шапку и вуаль, - даже когда отправлялась на крестьянский рынок в Нерчинске. Она играла на французском клавиноде, который предусмотрительно упаковала и провезла через всю замёрзшую азиатскую степь - несомненно, с огромными неудобствами. Она поддерживала свой английский, переводя книги и журналы, присылавшиеся почтой; и каждый день записывала под диктовку письма узников, которым как «политическим» было строжайше запрещено писать в лагере. Они называли Марию своим «окном в мир».<sup>74</sup>

Сибирь сблизила изгнанников. Она научила их жить по тем самым началам общности и самодостаточности, которыми они прежде так восхищались в крестьянстве. В Чите, куда они переселились в 1828 году, дюжина узников и их семьи составили артель - трудовое товарищество - и распределили между собой все работы. Одни строили бревенчатые избы, в которых предстояло жить их жёнам и детям, а затем и самим узникам, когда им это будет позволено. Другие брались за ремёсла - плотничали, шили обувь и одежду. Волконский был главным садовником. Они называли это сообщество своей «тюремной семьёй», и в их воображении оно почти заново воссоздавало ту уравнительную простоту крестьянской общины.<sup>75</sup> В этом жила та самая товарищеская спайка, тот дух единения, с которым люди 1812 года впервые столкнулись в полку.

Семейные отношения тоже стали теснее. Исчезли слуги, которые в дворянской семье XVIII века брали на себя уход за детьми. Сибирские изгнанники сами растили своих детей и обучали их всему, что знали. «Я была твоей кормилицей, - говорила Мария сыну Мише, - твоей нянькой и, частью, твоей учительницей».<sup>76</sup> В 1832 году родился новый сын, Миша;

---

<sup>72</sup> То же, с.67

<sup>73</sup> То же, с.70

<sup>74</sup> Архив декабриста С. Г. Волконского, с. XXXI.

<sup>75</sup> Декабристы. Летописи Государственного литературного музея, кн. 3 (Москва, 1938), с. 354.

<sup>76</sup> Записки княгини М. Н. Волконской (Чита, 1960), с. 101.

в 1834-м - дочь Елена, «Неллинка». На следующий год Волконские были переселены в село Урик, в тридцати километрах от Иркутска, где у них был деревянный дом и участок земли, как и у прочих жителей деревни. Миша и Елена росли среди местных крестьянских детей. Они учились их играм: разыскивали птичьи гнёзда, ловили форель, ставили силки на зайцев и ловили бабочек. «Неллинка растёт настоящей сибирячкой», - писала Мария своей подруге Кате Трубецкой.

Она говорит только на местном наречии, и нет никакой возможности её от этого отучить. Что же касается Миши, то мне приходится позволять ему уходить в лес на стоянки с дикими деревенскими мальчишками. Он обожает приключения; на днях он безутешно рыдал из-за того, что проспал тревогу, поднятую появлением волка на нашем крыльце. Мои дети растут à la Rousseau, двумя маленькими дикарями, и я почти ничего не могу с этим поделать, разве только настаивать, чтобы дома они говорили с нами по-французски... Но надо сказать, что такая жизнь чрезвычайно полезна для их здоровья.<sup>77</sup>

Отец мальчика смотрел на это иначе. Исполненный гордости, он писал другу, что Миша вырос «истинно русским по чувству».<sup>78</sup>

Для взрослых ссылка тоже означала более простой и более «русский» образ жизни. Некоторые декабристы-изгнанники поселились в деревне и женились на местных девушках. Другие перенимали русские обычаи и занятия, в особенности охоту в богатых дичью сибирских лесах.<sup>79</sup> И все они были впервые в жизни вынуждены свободно овладеть родным языком. Для Марии и Сергея, привыкших говорить и мыслить по-французски, это было одной из самых трудных сторон нового существования. При первой встрече в нерчинской тюремной камере они были вынуждены говорить по-русски, чтобы стража могла их понять, - но не знали слов для всех тех сложных чувств, которые тогда переживали, и потому разговор их вышел несколько искусственным и чрезвычайно ограниченным. Мария принялась изучать родной язык по экземпляру Священного Писания, который имелся в лагере. Русский язык Сергея, на котором он когда-то писал как офицер, становился всё более просторечным. Его письма из Урика усеяны сибирскими разговорными оборотами и орфографическими ошибками в самых простых словах («если», «сомнение», «май» и «январь»)<sup>80</sup>.

Сергей, подобно своему сыну, «обрусевал» по-народному. С каждым годом он становился всё более похожим на крестьянина. Он одевался по-крестьянски, отпустил бороду, редко

---

<sup>77</sup> Цит. по: Sutherland, *The Princess of Siberia*, с. 253.

<sup>78</sup> М. П. Волконский, «Письма декабриста С. Г. Волконского», Записки отдела рукописей, вып. 24 (Москва, 1961), с. 399.

<sup>79</sup> Волконский, *О декабристах*, с. 66.

<sup>80</sup> Декабристы. Летописи Государственного литературного музея, сс. 91, 96, 100; Волконский, «Письма декабриста С. Г. Волконского», сс. 369, 378, 384.

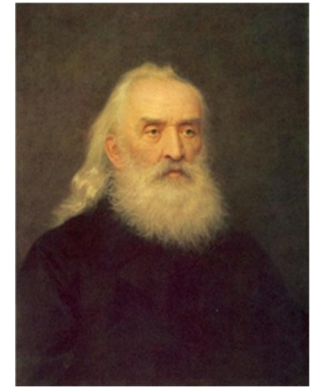
мылся и начал проводить почти всё своё время либо в поле, либо за беседами с крестьянами на рынке в ближайшем уездном городе. В 1844 году Волконским было дозволено поселиться в Иркутске. Мария тотчас была принята в официальный круг нового губернатора, Муравьёва-Амурского, который не скрывал своего сочувствия декабристам-изгнанникам и смотрел на них как на интеллектуальную силу, способную содействовать развитию Сибири. Мария с радостью воспользовалась этой возможностью вновь войти в общество. Она открыла несколько школ, приют для подкидышей и театр. В своём доме она держала главный салон города, куда и сам губернатор часто захаживал. Сергея там почти не бывало. «Аристократическая атмосфера» марьиного дома была ему неприятна, и он предпочитал оставаться на своей ферме в Урике, приезжая в Иркутск лишь по базарным дням. Но после двадцати лет, в течение которых он видел, как его жена страдала в Сибири, он и не думал становиться у неё на пути.



**6. Мария и Сергей Волконские  
в молодости**



**Сергей Волконский в  
Иркутске**



**Сергей Волконский в Москве**

«Крестьянин-князь», со своей стороны, в глазах многих считался чудаком. Н. А. Белоголовый, выросший в Иркутске в 1840-х годах, вспоминал, как людей поражало «видеть князя в базарные дни сидящим на облучке крестьянской телеги, нагруженной мешками с мукой, и оживлённо беседующим с толпой крестьян, пока они вместе делили серую булку хлеба».<sup>81</sup> Между супругами постоянно происходили мелкие ссоры. Брат Марии, А. Н. Раевский, которому было поручено управление её имениями, употреблял доходы с них на уплату собственных карточных долгов. Сергей обвинял Марию в том, что она держит сторону брата, пользовавшегося поддержкой Раевских, и в конце концов предпринял юридические меры, чтобы отделить свои собственные имения от её владений и тем обеспечить наследство детям.<sup>82</sup> Из годового дохода, который они получали со своей земли в России (приблизительно 4300 рублей), Сергей назначил 3300 рублей Марии - достаточно, чтобы она могла жить в Иркутске удобно, - оставив себе лишь 1000 рублей на

<sup>81</sup> Н. А. Белоголовой, Воспоминания, с. 36.

<sup>82</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 50, лл. 11-19.

содержание своей маленькой фермы.<sup>83</sup> Всё более отчуждаясь друг от друга, Сергей и Мария начали жить порознь (в письмах к сыну Сергей впоследствии прямо называл это «разводом»)<sup>84</sup>, хотя в то время только «тюремная семья» знала об их устройстве.\* [Их семейные проблемы впоследствии были скрыты семьями Раевских и Волконских: из семейных архивов были изъяты целые фрагменты их переписки. Эта практика продолжилась и в советских публикациях, когда декабристы были героизированы. Тем не менее следы их разрыва всё ещё можно обнаружить в архивах]. У Марии была любовь с красивым и обаятельным декабристом-изгнанником Алессандро Поджио, сыном итальянского дворянина, приехавшего в Россию в 1770-х годах. В Иркутске Поджио ежедневно бывал в доме Марии, и хотя он считался другом Сергея, его слишком частое появление там в отсутствие мужа не могло не породить сплетен. Ходили слухи, будто Поджио и был настоящим отцом Миши и Елены, - намёк, который всё ещё мучил Сергея в 1864 году, за год до смерти, когда он писал своё последнее письмо «дорогому другу» Поджио<sup>85</sup>. В конце концов, чтобы сохранить хотя бы видимость супружеской жизни, Сергей построил в дворе дома Марии деревянную избушку, где спал, готовил себе пищу и принимал своих крестьянских друзей. Белоголовый вспоминал одно редкое появление его в марьиной гостиной. «Лицо его было выпачкано дёгтем, в длинной, нечесаной бороде торчали соломины, и от него пахло скотным двором... И, однако же, он всё ещё говорил по-французски безупречно, произнося свои “р” как настоящий француз».<sup>86</sup>

Стремление вести простую крестьянскую жизнь было свойственно многим дворянам (здесь невольно вспоминается дальний родственник Волконского - Лев Толстой). Этот глубоко «русский» поиск «истинной жизни» был явлением более серьёзным, нежели романтическое стремление к «естественному» или «органическому» существованию, одушевлявшее культурные движения в других странах Европы. В самой его сердцевине лежало религиозное представление о «русской душе», побуждавшее национальных пророков - от славянофилов 1830-х годов до народников 1870-х - поклоняться у алтаря крестьянства. Славянофилы верили в нравственное превосходство русской крестьянской общины над современными западными порядками и призывали вернуться к этим началам. Народники были убеждены, что уравниательные обычаи общины могут послужить образцом для социалистического и демократического переустройства общества; они обращались к крестьянству в надежде обрести в нём союзника для своего революционного дела. Для всех этих мыслителей Россия открывалась, как мессианская истина, в обычаях и верованиях её крестьянства. Войти в Россию и спастись через неё значило отречься от греховного мира, в который были рождены эти дети дворянства. Волконский в этом смысле был первым в длинной череде русских дворян, нашедших свою нацию и своё спасение в крестьянстве, и

---

<sup>83</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 63, л. 52.

<sup>84</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 65, л. 2.

<sup>85</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 97, л. 2.

<sup>86</sup> Белоголовый, Воспоминания, с. 37.

его нравственный поиск коренился в тех уроках, которые он вынес из 1812 года. Он отвернулся от того, что считал ложными отношениями старого сословного общества, и с идеалистическими ожиданиями устремил взор к новому обществу равных людей. «Я не доверяю никому из общества связей», - писал он Ивану Пущину, своему старому товарищу-декабристу, в 1841 году. «В сибирских крестьянах больше честности и цельности чувства».<sup>87</sup>

Подобно всем декабристам-изгнанникам, Волконский видел в Сибири землю демократической надежды. Здесь, казалось им, была молодая и детская Россия, первозданная и сырая, богатая природными силами. Это была пограничная страна - некая «Америка», - где крестьян-первопроходцев не задавило ни крепостное право, ни государство (ибо в Сибири было немного крепостников), так что они сохранили независимый дух и находчивость, природное чувство справедливости и равенства, из которых старая Россия могла бы возродиться. В юной энергии её необузданных крестьян заключался демократический потенциал России. Поэтому декабристы с таким увлечением отдавались изучению сибирского фольклора и истории; открывали сельские школы или, подобно Марии, учили крестьян у себя дома; а подобно Сергею - овладевали крестьянскими ремёслами или сами работали на земле. Князь находил утешение и чувство цели в своём крестьянском труде. Это было освобождение от бесконечности пленного времени. «Ручной труд - вещь такая здоровая, - писал Волконский Пущину. - И как радостно, когда он кормит семью и ещё приносит пользу другим людям»<sup>88</sup>.

Но Волконский был не просто земледельцем; он был целым сельскохозяйственным институтом. Он выписывал из Европейской России учебники и новые сорта семян (письма Марии домой были полны перечней садовых потребностей) и делился плодами своей науки с крестьянами, которые приходили к нему за советом за многие вёрсты<sup>89</sup>. Крестьяне, по-видимому, действительно уважали «нашего князя», как они звали Волконского. Им нравились его прямота и открытость, та лёгкость, с какой он говорил с ними на их местном наречии. Благодаря этому они в его присутствии были гораздо менее скованы, чем обыкновенно бывали перед дворянами.<sup>90</sup>

Эта необычайная способность входить в мир простого народа требует особого замечания. Толстой, в конце концов, так и не сумел добиться этого по-настоящему, хотя стремился к тому почти пятьдесят лет. Быть может, успех Волконского объясняется его долгим опытом обращения к солдатам-крестьянам в его полках. Или, быть может, когда условности его европейской культуры были сорваны, он смог опереться на русские обычаи, усвоенные в детстве. Его преобразование было сродни тому, которое происходит с Наташей в сцене

---

<sup>87</sup> Волконский, «Письма декабриста С. Г. Волконского», с. 371.

<sup>88</sup> То же, с.372

<sup>89</sup> Волконский, Записки, с. 478.

<sup>90</sup> Белоголовый, Воспоминания, с. 37.

*Войны и мира*, когда она вдруг открывает в лесной избе «дядюшки», что дух крестьянской пляски живёт в её крови.

4

Как знают читатели *Войны и мира*, война 1812 года стала жизненно важным рубежом в культуре русской аристократии. Это была война национального освобождения от интеллектуальной империи французов - мгновение, когда дворяне вроде Ростовых и Болконских старались вырваться из чуждых условностей своего общества и начать новую жизнь на русских началах. Это превращение не было ни простым, ни прямолинейным (и происходило оно гораздо медленнее, чем в романе Толстого, где дворяне почти в одночасье заново обретают свои забытые национальные обычаи). Хотя в первое десятилетие XIX века антифранцузские голоса слились уже почти в целый хор, аристократия всё ещё была глубоко погружена в культуру той страны, с которой вела войну. Салоны Петербурга были полны молодых поклонников Бонапарта, подобных Пьеру Безухову в *Войне и мире*. Самым модным был круг графов Румянцева и Коленкура, французского посла в Петербурге, - тот самый круг, в котором вращалась толстовская Элен. « И где нам, князь, воевать с французами!? - спрашивает в *Войне и мире* граф Раstopчин, московский генерал-губернатор. - Разве мы против наших учителей и богов можем ополчиться? Посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших барынь. Наши боги -- французы, наше царство небесное - Париж »<sup>91</sup>. И всё же даже в этих кругах вторжение вызвало ужас, а последовавшая реакция против всего французского стала основанием русского возрождения в жизни и искусстве.

В патриотической атмосфере 1812 года употребление французского языка в петербургских салонах стало предосудительным, а на улицах - даже опасным. Роман Толстого удивительно точно передаёт дух той поры, когда дворяне, воспитанные на том, чтобы говорить и мыслить по-французски, с трудом пытались беседовать на родном языке. В одном обществе было решено запретить французский и налагать штраф на всякого, кто оговорится. Беда была лишь в том, что никто не знал русского слова для «штрафа» - его попросту не было, - и потому приходилось восклицать: *forfaiture*. Впрочем, этот языковой национализм вовсе не был новшеством. Адмирал Шишков, некоторое время бывший министром народного просвещения, ещё в 1803 году поставил защиту русского языка в самый центр своей борьбы против французского влияния. Он был втянут в длительный спор с карамзинистами, в котором нападал на французские обороты их салонного стиля и требовал, чтобы литературный русский вернулся к своим архаическим церковнославянским корням. [Эти споры о языке были частью более широкого конфликта вокруг вопроса о том,

---

<sup>91</sup> Толстой, *Война и мир*, с. 582.

что такое «Россия» и какой ей надлежит быть — последователем Европы или самобытной культурой со своим собственным лицом.

Они предвосхищали будущие споры между славянофилами и западниками. Славянофилы оформились в особое течение лишь тридцать лет спустя, однако сам термин «славянофил» впервые употреблялся уже в 1800-х годах для обозначения тех, кто, подобно Шишкову, отдавал предпочтение церковнославянскому языку как «национальному» идиому (см.: Ю. Лотман и Б. Успенский, «Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры», в сб.: Труды по русской и славянской филологии, 24, Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 39 (Тарту, 1975), сс. 210–211).] Для Шишкова именно французское влияние было виновно в упадке православной религии и старого патриархального нравственного уклада: русский образ жизни подтачивался культурным нашествием с Запада.

После 1812 года значение Шишкова стало стремительно возрастать. Прославленный картёжник, он был частым гостем в модных домах Петербурга и в промежутках между партиями в *vingt-et-un* проповедовал достоинства русского языка. В глазах своих хозяев он приобрёл значение «национального мудреца» и, быть может, отчасти потому, что они оставались ему должны по карточной игре, они платили ему за то, чтобы он обучал их сыновей<sup>92</sup>. Для сыновей дворян стало модой учиться читать и писать на родном языке. Дмитрий Шереметев, осиротевший сын Николая Петровича и Прасковьи, провёл в 1810-х годах три года, занимаясь русской грамматикой и даже риторикой, - столько же времени, сколько ушло у него на изучение французского<sup>93</sup>. За недостатком русских книг дети учились читать по Священному Писанию; более того, как и Пушкин, они нередко обучались чтению у дьячка или местного священника<sup>94</sup>. Девочек обучали русской грамоте реже, чем мальчиков. В отличие от братьев, которым предстояло стать офицерами или помещиками, им не нужно было вести дела ни с купцами, ни с крепостными, а значит, и особой нужды читать или писать на родном языке у них не было<sup>95</sup>. Но в провинции всё заметнее становилась тенденция, при которой русский язык начинали изучать и женщины, и мужчины. Мать Толстого, Мария Волконская, прекрасно владела литературным русским и даже писала стихи на родном языке. Без этого растущего русского читателя литературное возрождение XIX века было бы немыслимо. Прежде образованные классы в России читали главным образом иностранную литературу.

В XVIII веке употребление французского и русского языков разграничивало две совершенно отдельные сферы: французский - сферу мысли и чувства, русский - сферу повседневной жизни. Один язык (французский или галлицизированный «салонный»

---

<sup>92</sup> Ф. Ф. Вигель, Записки, часть 2 (Москва, 1892), с. 32.

<sup>93</sup> РГИА, ф. 1088, оп. 1, д. 439.

<sup>94</sup> Н. С. Ашукин, Пушкинская Москва (Санкт-Петербург, 1998), с. 44.

<sup>95</sup> С. Л. Толстой, Мать и дед Л. Н. Толстого (Москва, 1928), с. 45.

русский) предназначался для литературы, другой (простая речь крестьянства, не столь уж далёкая от разговорного языка купечества и духовенства) - для повседневности. На употребление языков существовали строгие условности. Так, например, дворянин должен был писать государю по-русски, и было бы дерзостью писать ему по-французски; но говорил он с государем всегда по-французски, как и с другими дворянами. Женщина же, напротив, должна была писать по-французски - не только в переписке с монархом, но и со всеми чиновниками, ибо именно этот язык считался языком приличного общества; было бы сочтено грубым неприличием, если бы она прибегла к русским выражениям<sup>96</sup>. В частной переписке, однако, жёстких правил почти не существовало, и к концу XVIII века аристократия стала настолько двуязычной, что переходила с русского на французский и обратно легко и почти незаметно. В письме длиной всего в страницу язык мог смениться с десяток раз, порой даже посреди фразы, и не обязательно потому, что менялась тема.

Толстой воспользовался этим различием в *Войне и мире*, чтобы оттенить общественные и культурные нюансы русского франкоязычия. Например, то обстоятельство, что Андрей Болконский говорит по-русски с французским акцентом, относит его к высшему, профранцузскому слою петербургской аристократии. А то, что друг Андрея, дипломат Билибин, предпочитает говорить по-французски и произносит «только те слова по-русски, на которых хотел сделать презрительное ударение», указывает на то, что Билибин воплощает известный культурный стереотип, без труда узнаваемый читателями: русский, который предпочёл бы быть французом. Но, быть может, наилучший пример - Элен, княгиня, предпочитающая говорить по-французски о своих внебрачных связях, потому что «по-русски ей всё казалось, что дело её неясно, а по-французски выходило лучше»<sup>97</sup>. В этом месте Толстой намеренно отзывается старым различием между французским как языком лжи и русским как языком искренности. Его использование диалога также имеет ясно выраженное национальное измерение. Не случайно наиболее идеализированные персонажи романа говорят исключительно по-русски (княжна Марья и крестьянин Каратаев) или, как Наташа, говорят по-французски лишь с ошибками.

Разумеется, никакой роман не является прямым окном в жизнь, и как бы близко *Война и мир* ни подходила к реалистическому идеалу, мы не можем принимать эти наблюдения за точное отражение действительности. Стоит обратиться к переписке Волконских - не забывая, разумеется, что именно они стали Болконскими в *Войне и мире*, - и перед нами открывается картина куда более сложная, чем у Толстого. Сергей Волконский писал по-французски, но вставлял русские выражения, когда упоминал повседневную жизнь в имени; либо писал по-русски, если хотел особенно подчеркнуть важную мысль и выразить собственную искренность. По склонности своей, особенно после 1812 года, он писал большей частью по-русски; и после 1825 года, уже из Сибири, был вынужден делать это в

---

<sup>96</sup> Ю. Лотман, «Женский мир», в кн.: Беседы о русской культуре, с. 57.

<sup>97</sup> Толстой, *Война и мир*, сс. 159, 898.

письмах, поскольку его цензоры читали только по-русски. Но бывали и случаи, когда он писал по-французски (даже после 1825 года): например, когда излагал мысль в условном наклонении или прибегал к формульным выражениям и вежливостям; либо в тех местах, где, нарушая правила, хотел высказать взгляды на политику на языке, которого не понимали цензоры. Иногда он пользовался французским, чтобы пояснить понятие, для которого не существовало русского слова, - *diligence, duplicité* и *discretion*.<sup>98</sup>

Также и в обычаях, и в повседневных привычках аристократия старалась становиться более «русской». Люди 1812 года отказывались от изысканных трапез *haute cuisine* в пользу спартанских русских обедов, стремясь упростить и «орусить» свой роскошный образ жизни. Дворяне всё чаще и всё более открыто брали себе крестьянских «жён» (то, что было дозволено Шереметеву, казалось дозволительным и для них), а бывали даже случаи, когда дворянки жили с крепостными или выходили за них замуж<sup>99</sup>. Даже Аракчеев, военный министр, ставший столь ненавистным за свой жестокий армейский режим, имел неофициальную крестьянскую жену, от которой имел двух сыновей, воспитанных в Пажеском корпусе<sup>100</sup>. Внезапно вошли в моду местные ремёсла. Русский фарфор со сценами деревенской жизни всё чаще предпочитали классическим рисункам импортного фарфора XVIII века. Карельская берёза и другие русские породы дерева, особенно в более грубоватой, деревенской обработке крепостных мастеров, начали соперничать с тонкой импортной мебелью классического дворца и даже вытеснять её из тех частных помещений, где дворянин отдыхал. Граф Александр Остерман-Толстой, военный герой 1812 года, владел великолепным особняком на Английской набережной в Петербурге. Приёмные залы его имели мраморные стены и зеркала с пышным убранством во французском стиле ампир, но после 1812 года он велел обшить свою спальню грубыми брёвнами, чтобы она походила на крестьянскую избу<sup>101</sup>.

Русифицировались и развлечения. На балах в Петербурге, где прежде безраздельно господствовали европейские танцы, после 1812 года вошло в моду исполнять *пляску* и другие русские танцы. Графиня Орлова славилась именно такими крестьянскими плясками, которые она изучала и исполняла на московских балах<sup>102</sup>. Но были и другие дворянки, которые, подобно Наташе Ростовской, каким-то образом восприняли сам дух танца, как если бы вдохнули его «из русского воздуха». Княжна Елена Голицына впервые исполнила *пляску* несколькими десятилетиями позднее на балу в Новгороде. «Никто не учил меня плясать *пляску*. Просто я была “русская девушка”. Я выросла в деревне, и когда слышала припев

---

<sup>98</sup> См., например: РГИА, ф. 1035, оп. 1, д. 87, лл. 1–2, 14; ф. 914, оп. 1, д. 34, лл. 3–10 (особенно л. 5).

<sup>99</sup> Н. А. Решетов, «Дело давно минувших дней», Русский архив (1885), кн. 3, № 11, сс. 443–445.

<sup>100</sup> И. С. Жиркевич, «Записки», Русская старина, т. 9 (1875), с. 237.

<sup>101</sup> Д. И. Завалишин, «Воспоминания о графе А. И. Остермане-Толстом (1770–1851)», Исторический вестник (1880), т. 2, № 5, сс. 94–95.

<sup>102</sup> Лаврентьева, Светский этикет, с. 321.

нашей деревенской песни “Девка за водой пошла”, я уже не могла удержаться от первых движений руками, с которых начинается танец»<sup>103</sup>.

Другим признаком новообретённой русскости были сельские удовольствия. Именно в это время дача впервые выступила как национальный институт, хотя дачный, то есть загородный или пригородный летний дом, не стал массовым явлением до последних десятилетий XIX века (вишнёвый сад Чехова, как известно, был срублен под дачные участки). Высшая петербургская аристократия снимала дачи уже в XVIII веке. Павловск и Петергоф были её любимыми курортами, где можно было спастись от городской жары и дышать свежим воздухом сосновых лесов или моря. У царей в обоих этих местах были роскошные летние дворцы с обширнейшими парками для увеселений. В начале XIX века дачная мода распространилась и на мелкое дворянство, строившее более скромные дома в деревне.

В противоположность строгому классицизму городского дворца, дача строилась в простом русском стиле. Обычно это было двухэтажное деревянное здание с мезонином и верандой, обходившей весь дом, с затейливо резными оконными и дверными наличниками, более обычными для крестьянских изб, хотя на более богатых дачах к фасаду порой нелепо добавлялись римская арка и колонны. Дача была местом русских удовольствий и занятий: сбор грибов в лесу, варенье, чай из самовара, рыбная ловля, охота, баня или целый день, проведённый, подобно Обломову Гончарова, в восточном халате. Месяц, проведённый в деревне, позволял дворянину сбросить с себя тяготы двора и служебной жизни, стать в русской среде больше самим собой. Было обычным делом отказываться от форменного мундира и носить простую русскую одежду. Простая русская пища вытесняла *haute cuisine*, а некоторые блюда, такие как летний суп на квасе (окрошка), заливная рыба, маринованные грибы, чай с вареньем или вишнёвая наливка, стали почти синонимами дачного образа жизни.<sup>104</sup>

Из всех сельских занятий охота была тем, что ближе всего подходило к значению национального института - в том смысле, что соединяла дворянина и крепостного как товарищей по спорту и как соотечественников. Начало XIX века было золотым веком охоты - обстоятельство, связанное с тем, что дворянство после 1812 года заново открывало для себя «добрую помещичью жизнь». Были дворяне, оставлявшие карьеру на государственной

---

<sup>103</sup> Е. Хвощинская, «Воспоминания», Русская старина (1898), т. 93, с. 581.

<sup>104</sup> М. Н. Хрущев, «Иван Степанович Котляревский (отрывок из воспоминаний)», Известия Таврической ученой архивной комиссии, № 54 (1918), с. 298; К. А. Соловьев, В вкусе умной старины. Усадебный быт российского дворянства II половины XVIII — I половины XIX веков (Санкт-Петербург, 1998), с. 30; В. В. Селиванов, Сочинения (Владимир, 1901), с. 151; С. М. Загоскин, «Воспоминания», Исторический вестник (1900), т. 79, № 1, с. 611; В. Н. Харузина, Прошлое. Воспоминания детских и отроческих лет (Москва, 1999), с. 312; Н. П. Грот, Из семейной хроники. Воспоминания для детей и внуков (Санкт-Петербург, 1900), сс. 58–59.

службе и удалявшиеся в деревню ради спортивной жизни. «Дядюшка» Ростовых в *Войне и мире* - самый типичный пример:

- Что же вы не служите, дядюшка?

- Служил, да бросил. Не гожусь, чистое дело марш, я ничего не разберу. Это ваше дело, а у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело, это чистое дело марш!<sup>105</sup>

В России существовало два рода охоты: формальная псовая охота, очень пышная, и простая охота пешком, когда человек шёл с одной собакой и крепостным спутником, - та самая, что увековечена Тургеневым в *Записках охотника* (1852). Псовая охота велась на манер военной кампании, порою длилась по нескольку недель, с сотнями всадников, огромными сворами собак и целой толпой охотничьих крепостных, разбивавших лагерь по помещичьим усадьбам. Лев Измайлов, предводитель рязанского дворянства, выводил в свои «походы» 3000 охотников и 2000 гончих<sup>106</sup>. Барон Менгден содержал особую касту охотничьих крепостных в собственной алой ливрее и со специальными арабскими лошадьми для охоты. Когда они выступали, во главе с самим бароном, то брали с собой несколько сот подвод с сеном и овсом, подвижной лазарет для раненых собак, полевую кухню и такое множество слуг, что дом барона пустел, а жене и дочерям оставались только буфетчик да мальчик<sup>107</sup>. Такой вид охоты зависел от владения дворянством огромными армиями крепостных и почти всей землёй - условия, сохранявшегося до освобождения крестьян в 1861 году. Подобно английской охоте, она была серьёзна и чопорна, строго соблюдала общественную иерархию, а охотничьи крепостные, даже если и не бежали рядом с собаками, всё равно явно оставались в подчинённой роли.

Охота же тургеневского типа была сравнительно более уравнительной - и притом по-русски. Когда дворянин отправлялся на охоту со своим крепостным спутником, он оставлял позади цивилизацию своего дворца и входил в крестьянский мир. Барин и крепостной сближались через этот вид спорта. Одевались они почти одинаково; делили пищу и питьё, когда останавливались в пути; спали рядом в крестьянских избах и сараях; и, как описано в *Записках*, говорили о своей жизни в духе товарищества, который нередко делал их близкими и верными друзьями на долгие годы<sup>108</sup>. Здесь было нечто гораздо большее, чем обычное «мужское сближение» через спорт. Для помещика пешая охота была сельской одиссеей, встречей с ещё не открытой крестьянской страной; сколько именно было убито птиц или зверей - почти не имело значения. В последнем лирическом эпизоде *Записок*, где

---

<sup>105</sup> Толстой, *Война и мир*, с. 544.

<sup>106</sup> Селиванов, *Сочинения*, с. 78.

<sup>107</sup> Е. Менгден, «Из дневника внучки», *Русская старина*, т. 153, № 1, с. 105.

<sup>108</sup> См., например: Помещичья Россия. По запискам современников (Москва, 1911), сс. 61–62; Н. В. Давыдов, «Очерки былой помещичьей жизни», *Из прошлого* (Москва, 1914), с. 425; а также замечательные мемуары С. Т. Аксакова *Семейная хроника*, пер. М. Beverley (Westport, Conn., 1985), особенно с. 199.

рассказчик подводит итог всем радостям охоты, само охотничье дело едва упоминается. Из этого совершенного по красоте фрагмента выступает напряжённая любовь охотника к русской природе и к её меняющейся красоте в разные времена года:

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отраднo бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст -- вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и "кашки"; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет да солнце; еще свежо, во уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли -- звучный лязг косы раздаётся за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.<sup>109</sup>

Русские формы одежды после 1812 года сделались вершиной моды. На балах и приёмах в Петербурге, а с 1830-х годов и при дворе, светские дамы стали появляться в национальном костюме, включая сарафан и кокошник старой Московии. Русский крестьянский платок пользовался огромной популярностью среди дворянок в 1810-х годах. В Европе в последние десятилетия XVIII века существовала мода на восточные шали, которую русские подражательно переняли, выписывая собственные шали из Индии. Но после 1812 года именно русские крестьянские платки вошли в бешеную моду, и крепостные мастерские превратились в важные центры этой модной индустрии<sup>110</sup>. Русское платье (*капот*), традиционно носившееся крестьянками и жёнами провинциальных купцов, вошло в *haute couture* несколько раньше, ещё в 1780-х годах, когда его стала носить Екатерина Великая, но и оно с 1812 года стало широко распространено. Кафтан и халат (великолепный род домашней одежды или шлафрока, в котором можно было лежать дома и принимать гостей) вновь вошли в моду у дворян. В гардероб дворянина вошла и *поддѣвка*, короткий кафтан, традиционно носимый крестьянами. Носить такую одежду значило не просто отдыхать и быть самим собой дома; это было, по словам одного мемуариста, «сознательно заявлять о своей русскости»<sup>111</sup>. Когда Тропинин в 1827 году написал Пушкина в халате, он изобразил его как дворянина, пребывающего в полном согласии с обычаями своей земли.

В 1820-е годы среди дворянок распространилась мода на «естественный» вид. Новый идеал красоты сосредоточился на представлении о чистоте женских фигур античности и русского крестьянства. Портрет Зинаиды Волконской, написанный Фиделем Бруни в 1810 году,

---

<sup>109</sup> И. Тургенев, Записки охотника, пер. R. Freeborn (Harmondsworth, 1967), с. 247.

<sup>110</sup> Шарфы и шали русской работы первой половины XIX в. (Ленинград, 1981).

<sup>111</sup> Свербеев, Записки, 1799–1826, т. 1, с. 415.

прекрасно иллюстрирует этот стиль. Более того, по светским слухам, именно простота её одеяния привлекла к ней влюблённое внимание императора<sup>112</sup>, который и сам был восприимчив ко всем прелестям Природы<sup>113</sup>. [Император Александр вошёл в обыкновение ежедневно прогуливаться вдоль Дворцовой набережной и по Невскому проспекту до Аничкова моста. Это было, по словам мемуариста Вигеля, «сознательное стремление царя к простоте в повседневной жизни» (Ф. Ф. Вигель, Записки, часть 2 (Москва, 1892), с. 32). До 1800 года ни один уважающий себя дворянин не отправился бы в Петербурге куда бы то ни было иначе как в экипаже, и, как свидетельствовала комическая опера Княжнина, на самые большие кареты, выписываемые из Европы, тратились огромные личные состояния. Но под влиянием Александра в Санкт-Петербурге вошло в моду *faire le tour impérial* — совершать «императорский круг», то есть проходить тем же прогулочным маршрутом.] Женщины стали носить хлопчатобумажные ткани. Волосы укладывали просто, от тяжёлого грима отказывались ради бледного цвета лица, любимого этим культом неукрашенной Природы. Поворот к Природе и простоте был широко распространён по всей Европе с последних десятилетий XVIII века. Женщины выбрасывали напудренные парики и отказывались от тяжёлых ароматов вроде мускуса в пользу лёгкой розовой воды, позволявшей проступить естественному благоуханию чистой плоти. Там этот поворот развивался под влиянием Руссо и романтических представлений о добродетелях Природы. Но в России мода на естественность имела ещё и дополнительное, национальное измерение. Она связывалась с мыслью, что нужно снять внешние слои культурной условности, чтобы обнаружить русскую личность. Пушкинская Татьяна в *Евгении Онегине* стала литературным воплощением этой естественной русскости - до такой степени, что простой стиль одежды, носимый дворянками, стали называть «онегинским»<sup>114</sup>. Читатели видели в Татьяне «русскую героиню», подлинное существо которой открывается в воспоминаниях о её простом деревенском детстве:

Мне, Онегин, пышность эта,  
Постылой жизни мишура,  
Мои успехи в вихре света,  
Мой модный дом и вечера -  
Что в них? Сейчас отдать я рада  
Всю эту ветошь маскарада,  
Весь этот блеск, и шум, и чад  
За полку книг, за дикий сад,  
За наше бедное жилище,  
За те места, где в первый раз,  
Онегин, видела я вас,

---

<sup>112</sup> M. Fairweather, *The Pilgrim Princess: A Life of Princess Zinaida Volkonsky* (London, 1999), с. 36.

<sup>113</sup> Ю. Лотман, «Женский мир», с. 52.

<sup>114</sup> То же

Да за смиренное кладбище,  
Где нынче крест и тень ветвей  
Над бедной нянею моей.<sup>115</sup>

Пушкинский шедевр, помимо всего прочего, есть тончайшее исследование сложного русско-европейского сознания, столь характерного для аристократии эпохи 1812 года. Литературный критик Виссарион Белинский называл *Евгения Онегина* энциклопедией русской жизни, а сам Пушкин в заключительных строфах развивает мысль о романе как о книге жизни. Ни в одном другом произведении нельзя столь ясно увидеть, как глубоко воздействовала культурная условность на русское ощущение самого себя. Во многих отношениях центральным предметом романа является именно сложное взаимодействие между жизнью и искусством. Синкретическая природа характера Татьяны - знак того культурного мира, в котором она живёт. В один миг она читает романтический роман; в другой - слушает нянькины суеверия и народные сказки. Её тянет то к Европе, то к России. Само её имя, Татьяна, как Пушкин подчёркивает в примечании, происходит из древнегреческого, однако в России оно «употребляется только в простонародье»<sup>116</sup>. И в сердечных делах Татьяна также подчинена различным культурным нормам европейской России и крестьянской деревни. Будучи совсем юной и впечатлительной провинциальной девушкой, она живёт в воображаемом мире романтического романа и понимает свои чувства именно в этих категориях. Она, как и следовало, влюбляется в байроническую фигуру Евгения и, подобно одной из книжных героинь, пишет ему письмо с признанием в любви. Но когда влюблённая Татьяна спрашивает у няни, любила ли та когда-нибудь, она подпадает под влияние совершенно иного мира, в котором романтическая любовь - чуждая роскошь, а послушание - главная добродетель женщины. Крестьянская няня рассказывает Татьяне, как её выдали замуж всего тринадцати лет за мальчика ещё моложе её, которого она прежде никогда не видела:

И, полно, Таня! В эти лета  
Мы не слыхали про любовь;  
А то бы согнала со света  
Меня покойница свекровь.  
Я горько плакала со страха,  
Мне с плачем косу расплели,  
Да с пеньем в церковь повели.<sup>117</sup>

Эта встреча двух культур и есть собственная драма Татьяны: следовать ли своим романтическим мечтам или пожертвовать собою по-старому, по-русски (как поступила

---

<sup>115</sup> Пушкин, Евгений Онегин, с. 209.

<sup>116</sup> То же, с.232

<sup>117</sup> То же, с.65

Мария Волконская, оставив всё, чтобы последовать за своим мужем-декабристом в Сибирь). Онегин отвергает Татьяну - видит в ней наивную деревенскую девушку, - а затем, убив на дуэли своего друга Ленского, исчезает на несколько лет. Тем временем Татьяна выходит замуж за человека, которого, насколько можно судить, по-настоящему не любит, - за героя войны 1812 года, военного, которого «хорошо принимают» при дворе. Татьяна поднимается до положения знаменитой хозяйки петербургского салона. Онегин возвращается и теперь влюбляется в неё. Годы странствий по родной земле каким-то образом изменили прежнего петербургского денди, и наконец он видит её естественную красоту, её «отсутствие манерности и всяких заимствованных приёмов». Но Татьяна остаётся верна брачным обетам. По-видимому, она приняла свои «русские начала» - научилась смотреть сквозь иллюзии романтической любви. Перебирая книги в библиотеке Онегина, она наконец понимает вымышленное измерение его личности:

Что ж он? Ужели подражанье,  
Ничтожный призрак, иль еще  
Москвич в Гарольдовом плаще,  
Чужих причуд истолкованье,  
Слов модных полный лексикон?..  
Уж не пародия ли он?<sup>118</sup>

И всё же даже здесь, когда Татьяна говорит Онегину:

Я вас люблю (к чему лукавить?),  
Но я другому отдана;  
Я буду век ему верна, -<sup>119</sup>

мы видим в ней густую ткань культурных влияний. Эти строки восходят к песне, хорошо известной в русском народе. В пушкинскую эпоху считалось, что её написал Пётр Великий, и она была переведена на французский язык самим дядей Пушкина. Татьяна могла прочесть её в старом номере *Mercur de France*. Но могла и услышать её от своей крестьянской няни<sup>120</sup>. Это совершенная иллюстрация сложных пересечений между европейской и собственно русской культурой в пушкинский век.

Сам Пушкин был тонким знатоком русских песен и сказок. *Азбука русских суеверий* Чулкова (1780–1783) и *Русские сказки* Лёвшина (1788) были изрядно зачитанными книгами на пушкинских полках. Он вырос на крестьянских сказках и суевериях своей любимой няни

---

<sup>118</sup> То же, с.167

<sup>119</sup> То же, с.210

<sup>120</sup> W. M. Todd III, "Eugene Onegin: 'Life's Novel'", в кн.: *Literature and Society in Imperial Russia, 1800–1914*, под ред. того же автора (Stanford, 1978), сс. 228–229.

Арины Родионовны, ставшей прообразом няни Татьяны. «Мама» Родионовна была талантливейшей рассказчицей, развивавшей и обогащавшей многие общеизвестные сюжеты, если судить по тем записям её рассказов, которые Пушкин сделал позднее<sup>121</sup>. Во время южной ссылки 1820–1824 годов он стал серьёзным исследователем народных традиций, особенно казачьих, а затем, будучи сослан в родовое Михайловское в 1824–1826 годах, продолжал собирать песни и сказки. На этом материале были основаны *Руслан и Людмила* (1820), его первая крупная поэма, которую некоторые критики отбрасывали как простую «крестьянскую поэзию», а также стилизованные «сказки», вроде *Царя Салтана*, созданные им в последние годы жизни. Однако Пушкин нисколько не колебался соединять русские сказания с европейскими источниками, такими как басни Лафонтена или сказки братьев Гримм. Для *Золотого петушка* (1834) сюжет он даже заимствовал из *Легенды об арабском звездочёте*, на которую натолкнулся во французском переводе 1832 года. В глазах Пушкина Россия была частью западной и мировой культуры, и оттого, что он соединял все эти источники в литературных воссозданиях русского стиля, его «народные сказки» не становились менее подлинными. Как иронично, что советские националисты впоследствии считали пушкинские сказки прямым выражением русского народного духа. [Ахматову осудили советские литературные власти за то, что она, совершенно справедливо, утверждала: некоторые из источников пушкинских «русских сказок» восходят к «Тысяче и одной ночи».]

Ко времени смерти Пушкина в 1837 году литературное обращение к народной сказке стало уже обыденным явлением, почти условием литературного успеха. Более, чем какая-либо иная западная литература, русская словесность коренилась в устной повествовательной традиции, которой и была обязана значительной частью своей исключительной силы и своеобразия. Пушкин, Лермонтов, Островский, Некрасов, Толстой, Лесков и Салтыков-Щедрин - все они в той или иной мере могут быть названы фольклористами, и все, несомненно, пользовались фольклором во многих своих произведениях. Но никто не уловил самую суть народной сказки лучше Николая Гоголя.

Гоголь в действительности был украинцем, и если бы не успех Пушкина, бывшего его наставником и давшего ему подлинные сюжеты его главных произведений - *Ревизора* (1836) и *Мёртвых душ* (1835–1852), - он, быть может, писал бы на крестьянском наречии своей родной Миргородщины, где отец Гоголя был известен как писатель, творивший на украинском языке (хотя публиковать это при царских законах было невозможно). В детстве Гоголь влюбился в язык местного крестьянства. Он любил их песни и пляски, их страшные сказания и смешные истории, по которым позднее будут построены и его собственные фантастические петербургские повести. Впервые он прославился как «Рудый Панько, пасечник», вымышленный автор сборника рассказов *Вечера на хуторе близ Диканьки* (1831–1832), ставшего бестселлером и подпитавшего всё усиливавшуюся моду на

---

<sup>121</sup> М. Азадовский, *Литература и фольклор* (Ленинград, 1938), сс. 89, 287–289.

украинские народные сюжеты. *Кочубей* Аладина, *Гайдамаки* Сомова и *Казацкая шапка* Кульжинского уже имели большой успех в русской столице. Но Гоголь, как никто другой, был честолобив, и в 1828 году, едва окончив школу, приехал в Петербург в надежде создать себе литературное имя. Работая днём скромным чиновником (из тех самых, что потом наполнят его рассказы), по ночам он писал в своей одинокой мансарде. Он донимал мать и сестру просьбами присылать ему сведения об украинских песнях и пословицах и даже куски одежды, которые он просил купить у местных крестьян и отправить ему в сундуке. Читатели были восхищены «подлинностью» *Вечеров на хуторе*. Некоторые критики считали, что рассказы испорчены «грубым» и «непристойным» народным языком. Но именно язык был их главным успехом. Он в совершенстве передавал музыкальную звучность крестьянской речи - одна из причин, почему эти рассказы были положены в основу незавершённой *Сорочинской ярмарки* Мусоргского (1874–) и *Ночи на Лысой горе* (1867), а также *Майской ночи* Римского-Корсакова (1879), - и при этом был понятен всякому. Во время корректуры *Вечеров* Гоголь навестил наборщиков. «Произошла пресмешная вещь, - писал он Пушкину. - Как только я отворил дверь и наборщики заметили меня, они начали хохотать и отворачиваться. Я несколько опешил и спросил объяснения. Наборщик сказал мне: “Статьи, которые вы прислали, очень смешны, и наборщики ими премного забавляются” ». <sup>122</sup>

Разговорная речь всё более и более входила в литературу, по мере того как такие писатели, как Гоголь, начинали усваивать живой разговорный язык своей письменной форме. Литературный язык тем самым вырывался из пределов салона и, так сказать, выходил на улицу, впитывая звуки разговорного русского и переставая в процессе этого зависеть от французских заимствований для обозначения обыденных вещей. Гражданская поэзия Лермонтова была наполнена ритмами и выражениями народа, которые он сам записывал из крестьянской речи. Его эпическая *Песня про купца Калашникова* (1837) подражает стилю былины; а блестяще патриотическое *Бородино* (1837), написанное в память двадцатипятилетия разгрома армии Наполеона, воссоздаёт дух поля битвы именно тем, что даёт ему заговорить голосом крестьянских солдат:

Мы долго молча отступали,  
Досадно было, боя ждали,  
Ворчали старики:  
«Что ж мы? на зимние квартиры?  
Не смеют, что ли, командиры

---

<sup>122</sup> Письмо от 21 августа 1831 г. в кн.: Letters of Nikolai Gogol, ред. и пер. С. Proffer (Ann Arbor, 1967), с. 38 (я изменил перевод).

Чужие изорвать мундиры  
О русские штыки?...»<sup>123</sup>

Русская музыка также обрела свой национальный голос через усвоение народной песни. Первый *Сборник русских народных песен* был составлен Николаем Львовым и снабжён примечаниями Иваном Прачем в 1790 году. Характерные черты крестьянского распева - переменчивые тоны и неровные ритмы, которые позднее станут столь важной чертой русского музыкального стиля от Мусоргского до Стравинского, - были сглажены, чтобы подогнать песни под западные музыкальные формулы и сделать возможным их исполнение с обычным клавишным сопровождением (владеющим пианино русским классам требовалось, чтобы их народная музыка была «приятна слуху») <sup>124</sup>. Сборник Львова-Прача имел мгновенный успех и быстро выдержал несколько изданий. На протяжении всего XIX века его расхищали композиторы, искавшие «подлинный» народный материал, так что почти все народные мелодии в русском репертуаре - от Глинки до Римского-Корсакова - восходили к Львову-Прачу. Западные композиторы также обращались к нему в поисках экзотического русского колорита и *thèmes russes*. Бетховен использовал две песни из львовского сборника в «Разумовских» квартетах (opus 59), заказанных в 1805 году русским послом в Вене графом Разумовским, в разгар русско-австрийского союза против Наполеона. Одна из песен была знаменитым хором «Слава» - впоследствии использованным Мусоргским в коронационной сцене *Бориса Годунова*, - который Бетховен взял как тему *Thème Russe*, трио в третьей части второго квартета opus 59. Первоначально это была святочная песня, которую русские девушки пели, сопровождая ею гадания на Новый год. В блюдо с водой опускали мелкие предметы и вытаскивали их по одному, пока девушки пели песню. Простая мелодия в войну 1812 года превратилась в великий национальный хор: в припевы «Славы» вместо божественных сил стало подставляться имя царя; в позднейших вариантах добавлялись и имена офицеров <sup>125</sup>.

Столь же явным было имперское присвоение этой крестьянской темы в опере Глинки *Жизнь за царя* (1836). Её кульминационный вариант того же хора «Слава» едва ли не стал вторым национальным гимном в XIX веке. [После 1917 года высказывались предложения сделать хор «Славься» национальным гимном.] Михаил Глинка с ранних лет был погружён в русскую музыку. Его дед заведовал музыкой в местной церкви Новоспасского - в Смоленском крае, известном звонким звуком своих церковных колоколов, - а у дяди был крепостной оркестр, знаменитый исполнением русских песен. В 1812 году французские войска, двигавшиеся на Москву, ворвались в дом Глинок и разграбили его. Хотя в ту пору ему было всего восемь лет, это, должно быть, глубоко тронуло патриотическое чувство будущего автора *Жизни*, сюжет которой был навеян крестьянскими партизанами. Опера

---

<sup>123</sup> Mikhail Lermontov: Major Poetical Works, пер. A. Liberman (London, 1984), с. 103.

<sup>124</sup> См. R. Taruskin, *Defining Russia Musically* (Princeton, 1997), сс. 41-47.

<sup>125</sup> R. Taruskin, *Musorgsky: Eight Essays and an Epilogue* (Princeton, 1993), сс. 302-308.

рассказывает историю Ивана Сусанина, крестьянина из вотчины Михаила Романова, родоначальника династии Романовых, в Костроме. Согласно преданию, зимой 1612 года Сусанин спас жизнь Михаила, уведя в сторону польские войска, вторгшиеся в Россию в Смутное время (1605–1613) и явившиеся в Кострому, чтобы убить Михаила накануне его вступления на престол. Сусанин погиб, но династия была спасена. Очевидные параллели между жертвой Сусанина и жертвой крестьянских солдат в 1812 году вызвали романтический интерес к сусанинскому мифу. Рылеев написал о нём знаменитую балладу, а Михаил Загоскин - два чрезвычайно популярных романа, действие которых отнесено соответственно к 1612 и 1812 годам.

Глинка говорил, что его опера была задумана как борьба польской и русской музыки. Поляки звучали в полонезе и мазурке, русские - в его собственных обработках народных и городских песен. Предполагаемая связь Глинки с фольклором сделала его первым каноническим «национальным композитором» России, тогда как *Жизнь за царя* приобрела значение квинтэссенциальной «русской оперы», и её ритуальное исполнение по всякому национальному поводу было почти предписано императорским указом. Но в действительности в опере было сравнительно мало собственно народных мелодий в заметной форме. Глинка усвоил народный стиль и выразил его основное настроение, но написанная им музыка принадлежала всецело ему самому. Он слил свойства русской крестьянской музыки с европейской формой. Он показал, по словам поэта Одоевского, что «русская мелодия может быть возведена до трагического стиля»<sup>126</sup>.

И в живописи появился новый подход к русскому крестьянству. Каноны хорошего вкуса XVIII века требовали, чтобы крестьянин как предмет изображения был исключён из всех серьёзных видов искусства. Классические нормы предписывали художнику изображать универсальные темы: сцены из античности или Библии на фоне безвременного греческого или итальянского пейзажа. Русская жанровая живопись развилась очень поздно, лишь в последние десятилетия XVIII века, и образ простого человека в ней был сентиментализирован: пухлые крестьянские херувимы в пасторальной сцене или сочувственно трактованные «простонародные типы» с условными выражениями лица, показывавшими, что и у них есть человеческие чувства. Это был зрительный аналог сентиментального романа или комической оперы, которые подчёркивали человечность крепостных, рассказывая об их любви и романтических страданиях. Но после 1812 года возникло иное изображение крестьянства - такое, которое подчёркивало его героическую силу и человеческое достоинство.

---

<sup>126</sup> Цит. по: Taruskin, *Defining Russia Musically*, с. 33.



**6. Алексей Венецианов. Очищение свеклы. 1820 г.**

Это особенно заметно в творчестве Алексея Венецианова, подлиннейшего дитяти 1812 года. Сын московского купца (из семьи, происходившей первоначально из Греции), Венецианов был чертёжником и землемером на государственной службе, прежде чем в 1800-х годах стать живописцем и гравёром. Подобно многим первопроходцам русской культуры (вспоминается Мусоргский), он не получил систематического образования и всю жизнь оставался вне Академии. В 1812 году он привлёк к себе внимание публики серией гравюр с изображением крестьянских партизан. Расходясь огромными тиражами, они прославляли их образ, представляя их в виде воинов древней Греции и Рима; и с тех пор публика стала называть партизан «русскими Геркулесами»<sup>127</sup>. Война 1812 года сформировала взгляды Венецианова. Хотя человеком политическим он не был, однако вращался в тех же кругах, что и декабристы, и разделял их идеалы. В 1815 году через жену он приобрёл небольшое имение в Тверской губернии, а через четыре года удалился туда, устроил школу для деревенских детей и содержал на свой скудный доход от земли нескольких крестьян-художников. Одним из них был Григорий Сорока, чей нежный портрет учителя, написанный в 1840-х годах, - трогательное свидетельство характера Венецианова.

Венецианов знал крестьян своей деревни каждого в отдельности - и в лучших своих портретах именно так их и писал. Он передавал их личные свойства точно так же, как другие портретисты старались передавать индивидуальный характер дворян. Этот психологический элемент был революционен для своего времени, когда, за редчайшими исключениями, портретисты создавали лишь обобщённые «крестьянские типы». Венецианов сосредоточил внимание на крупном плане лица, заставляя зрителя встретиться с крестьянином взглядом и заглянуть в его глаза, как бы приглашая войти в его внутренний

---

<sup>127</sup> Алексей Гаврилович Венецианов (Ленинград, 1980), с. 13.

мир. Венецианов также положил начало натуралистической школе пейзажной живописи в России. Характер тверской местности - её приглушённые зелёные и тихие земляные тона - виден во всех его работах. Он передавал необъятность русской земли, опуская линию горизонта, чтобы усилить бескрайность неба над её плоскими открытыми пространствами, - приём, восходящий к иконописи и позднее воспринятый эпическими пейзажистами, такими как Врубель и Васнецов. В отличие от художников Академии, которые относились к пейзажу как к простому фону и списывали его с европейских образцов, Венецианов писал прямо с натуры. Для картины *Гумно* (1820) он велел своим крепостным выпилить торцевую стену амбара, чтобы можно было писать их за работой внутри. Ни один другой художник не вносил такого реализма в изображение сельскохозяйственного труда. В *Чистке свёклы* (1820) он заставляет зрителя всматриваться в грязные мозолистые руки и измождённые лица трёх молодых работниц, заполняющих собой всю сцену. Никогда прежде столь непривычные для классической традиции уродливые женские формы не появлялись в русском искусстве. Но эти печальные фигуры вызывают сочувствие именно своим человеческим достоинством перед лицом страдания. Возвышенное видение человеческого труда у Венецианова особенно ясно выступало в его многочисленных образах крестьянок. В, быть может, лучшей своей картине, символическом изображении крестьянки с ребёнком - *На пашне. Весна* (1827), - он соединяет типично русские черты своей труженицы с пластической соразмерностью античной героини. Женщина в поле здесь - крестьянская богиня. Она - мать русской земли.

## 5

По сравнению со своими родителями русские дворяне, выросшие после 1812 года, придавали детству более высокую ценность. Подобные взгляды менялись медленно, но уже к середине XIX века можно различить новое благоговение перед детством у тех мемуаристов и писателей, которые вспоминали своё воспитание после 1812 года. Эта тоска по поре детства слилась с новым почтением к русским обычаям, с которыми они познакомились в детстве через дворовых крепостных в отцовском доме.

В XVIII веке аристократия смотрела на детство как на подготовку к миру взрослых. Это был этап, который следовало преодолеть как можно скорее, и дети, задерживавшиеся на этом переходе, подобно Митрофану в фонвизинском «Недоросле», считались простофилями. От детей знатного происхождения ожидали поведения «маленьких взрослых», и их с ранних лет готовили к вступлению в общество. Девочек учили танцевать с восьмилетнего возраста. К десяти или двенадцати годам они уже ходили на «детские балы», которые устраивали танцмейстеры в модных домах, а в тринадцать или четырнадцать лет переходили уже на свой первый взрослый бал. Наташа Ростова была сравнительно взрослой - ей было восемнадцать, - когда она впервые поехала на бал и танцевала с князем Андреем в «Войне и мире». Мальчиков же тем временем записывали в гвардию и одевали в полковые мундиры задолго до того, как они становились достаточно

взрослыми, чтобы держать в руках шпагу. Волконский был зачислен в полк своего отца (сержантом заочно) в нежнейшем возрасте шести лет. К восьми годам он уже был сержантом Херсонского гренадерского полка, к девяти - адъютантом генерала Суворова, хотя, разумеется, лишь позднее, в шестнадцать лет, начал действительную службу на поле боя. Мальчиков, предназначенных к гражданской службе, в восемь или девять лет отправляли в пансион, где им внушали служебную этику и где они, подобно взрослым государственным чиновникам, носили гражданский, а не школьный мундир. Школа рассматривалась не более чем как подготовка к гражданской службе, и поскольку ученик мог поступить на неё по достижении пятнадцати лет, немногие дворянские семьи считали нужным продолжать образование сыновей после этого возраста. Более того, поскольку Табель о рангах подкрепляла принцип продвижения по старшинству, всякое дальнейшее обучение считалось невыгодным: чем раньше человек вступал на лестницу чинов, тем было лучше.

Мемуарист Василий Селиванов вырос в семье, где всех семерых сыновей с ранних лет готовили к военной службе. Его отец управлял домом как полком: сыновья все были распределены по старшинству, обязаны были вставать в его присутствии и называть его «сэр». Когда в 1830 году, в возрасте семнадцати лет, Селиванов поступил в драгуны, переход из родительского дома в казарму, должно быть, ощущался им как переход из одного дома в другой.<sup>128</sup> Разумеется, не все дворянские семьи были столь строго организованы, как Селивановы, но во многих отношениях родители с детьми строились на тех же основных принципах дисциплины, которые господствовали в армии и в государстве. Такая суровость существовала не всегда: домашняя жизнь дворянской семьи в XVII веке могла быть чрезвычайно патриархальной, но вместе с тем и тесной, интимной. Скорее это было заимствовано русскими с Запада, особенно из Англии, - хотя, как и многое принесённое в Россию в XVIII веке, настолько укоренилось в дворянстве, что в XIX столетии практически определяло этот класс. Дворянские родители держали детей на расстоянии вытянутой руки, а нередко и на длину самого длинного коридора или вниз по длиннейшей лестнице, на отдельный цокольный этаж в людской части дома. В. А. Соллогуб вырос в особняке на Дворцовой набережной в Петербурге. Взрослые жили в главном доме, тогда как дети были помещены вместе с няней и кормилицей в отдельное крыло и видели родителей лишь мельком один или два раза в день - например, чтобы поблагодарить их за обед (но не обедать вместе с ними) или поцеловать на прощание, когда те уезжали. «Наши жизни были совершенно отдельны, - вспоминал Соллогуб, - и не было никакого проявления чувства. Нам, детям, позволялось целовать родителей в руку, но ласк не было, и обращаться к ним мы должны были по-французски на формальное “vous”. Дети подчинялись строгому домашнему кодексу услужливости, почти как законам для крепостных».<sup>129</sup> Николай

---

<sup>128</sup> Селиванов, Сочинения, с. 12. Е. И. Стогов (1797–1880) даёт сходное описание своего воспитания в «Записках Е. И. Стогова», Русская старина, т. 113 (1898), сс. 137–138.

<sup>129</sup> В. А. Соллогуб, Отрывки из воспоминания (Санкт-Петербург, 1881), с. 7.

Шатилов, выросший в богатой помещичьей семье Тульской губернии в 1860-е годы, в детстве был заперт в отдельной квартире дома, где жил со своим наставником и там же принимал все свои трапезы; родителей он «месяцами не видел».<sup>130</sup>

Отстранённые отцы были, конечно, нормой в Европе XIX века, но мало где мать оставалась столь же далёкой, как в русской дворянской семье. Знатного ребёнка почти с самого дня рождения было принято отдавать на попечение кормилицы. Даже когда ребёнок подрастал, многие дворянские матери были просто слишком заняты своей светской жизнью или другими младенцами, чтобы уделять ему то внимание, которого он, несомненно, жаждал. Фраза «мать была чрезвычайно добра, но мы её почти не видели» часто встречается в мемуарах XIX века о дворянском быте<sup>131</sup>. Анна Каренина, хотя и не была образцом родительницы, не представляла в этом смысле исключения со своим незнанием распорядка детской («Я тут совсем бесполезна»)<sup>132</sup>.

Потому не было ничего необычного в том, что дворянский ребёнок рос без прямой родительской дисциплины. Родители часто оставляли детей на попечение родственников - обычно незамужней тётки или бабушки - либо под надзором нянек, горничных и прочей домашней челяди. Но слуги, естественно, боялись наказывать детей своих господ - «маленьких бар» и «маленьких барышень», - а потому потакали им и позволяли многое. Мальчики, в особенности, были склонны шалить - «маленькие чудовища», - прекрасно зная, что родители защитят их, если нянька, всего лишь крепостная, осмелится пожаловаться. Критики общественного строя, такие как Салтыков-Щедрин, утверждали, что эта вседозволенность приучала дворянских детей к жестокости по отношению к крепостным; во взрослой жизни они продолжали жить с убеждением, что могут властвовать над своими крепостными и обращаться с ними как угодно. Вполне возможно, что эгоизм и жестокость по отношению к крепостным, пронизывавшие правящие круги царской России, в некоторых случаях восходили к формирующему опыту детства. Так, если дворянского ребёнка отправляли в приходскую школу - а в провинции это было обычным делом, - его сопровождал крепостной мальчик, единственное назначение которого заключалось в том, чтобы принимать на себя порку за проступки маленького хозяина в классе. Как могло это воспитать у дворянского ребёнка какое-либо чувство справедливости?

И всё же между многими дворянскими детьми и их крепостными существовали узы привязанности и уважения. Герцен утверждал, что детям нравилось быть со слугами «потому, что в гостинной им было скучно, а в людской хорошо», и потому, что у них был общий темперамент.

---

<sup>130</sup> Н. И. Шатилов, «Из недавнего прошлого», Голос минувшего (1916), № 4, с. 219.

<sup>131</sup> См., например: А. Лабзина, Воспоминания (Санкт-Петербург, 1914), с. 95; А. Н. Казина, «Женская жизнь», Отечественные записки, 219, № 3 (1875), с. 211; Е. Юнге, Воспоминания (Москва, 1933), с. 41.

<sup>132</sup> Л. Толстой, Анна Каренина, пер. R. Edmonds (Harmondsworth, 1974), с. 650.

« На этом сходстве детей с слугами и основано взаимное пристрастие их. Дети ненавидят аристократию взрослых и их благосклонно-снисходительное обращение, оттого что они умны и понимают, что для чих они -- дети, а для слуг -- лица. Вследствие этого они гораздо больше любят играть в карты и лото с горничными, чем с гостями. Гости играют для них из снисхождения, уступают им, дразнят их и оставляют игру, как вздумается; горничные играют обыкновенно столько же для себя, сколько для детей; от этого игра получает интерес».<sup>133</sup>

Писавший как социалист, Герцен объяснял свою «ненависть к угнетению» тем «союзом», который он заключил в детстве со слугами против старших в доме. Он вспоминал: « Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: “Дайте срок, — вырастете, такой же барин будете, как другие”. Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна: таким, как другие, по крайней мере, я не сделался ».<sup>134</sup> Многие в этом, конечно, было написано ради эффекта; из этого получался хороший сюжет. Однако и другие писатели *similarly* утверждали, что их народнические убеждения сложились благодаря детским контактам с крепостными.<sup>135</sup>

Знатный русский мальчик проводил своё детство в нижнем, слугинском мире дома. О нём заботилась крепостная няня, которая спала рядом в детской, брала его на руки, когда он плакал, и во многих случаях становилась для него как бы матерью. Куда бы он ни шёл, его сопровождал крепостной «дядька». Даже когда он отправлялся в школу или поступал на службу в армию, этот верный слуга продолжал оставаться при нём чем-то вроде опекуна. Молодых девушек также сопровождал «лохматый лакей» - так его называли из-за меховой шубы, которую он носил поверх ливреи, - подобный тому, что явился «огромным, мохнатым медведем» в сне Татьяны в *«Евгении Онегине»*:

Она, взглянуть назад не смея,  
Поспешный ускоряет шаг;  
Но от косматого лакея  
Не может убежать никак;<sup>136</sup>

По необходимости товарищами по играм знатного ребёнка становились дети слуг, ибо в деревне на многие вёрсты вокруг не было других детей того же сословия. Подобно многим мемуаристам XIX века, Анна Лелонг хранила тёплые воспоминания об играх с деревенскими девочками и мальчиками: о метательных играх с деревянными чурками (городки), об играх с костями и кусочками металла, похожих на мяч и биты (бабки и их многочисленные разновидности), о хлопально-песенно-танцевальных играх и гаданиях.

---

<sup>133</sup> Герцен, *Былое и думы*, с. 26.

<sup>134</sup> То же, сс.32-33

<sup>135</sup> См., например: А. К. Лелонг, *«Воспоминания»*, Русский архив (1913), кн. 2, часть 6, с. 789.

<sup>136</sup> Пушкин, *Евгений Онегин*, с. 115.

Летом она ходила купаться с деревенскими детьми в реку, или нянька водила её в деревни играть с младшими, пока их матери молотили рожь. Позже, осенью, она вместе с деревенскими девочками собирала чернику и варила варенье. Ей нравились эти мгновения, когда ей позволялось войти в крестьянский мир. То, что родители это запрещали и что нянька заставляла её обещать никому не рассказывать, делало всё ещё более волнующим для девочки. В людской царил атмосфера тепла и близости, которой недоставало в гостинной родителей. «Я вставала очень рано и шла в девичью, где они уже сидели за прялками, а няня вязала чулки. Я слушала рассказы о продаже крестьян, о мальчиках, отправленных в Москву, о девках, выданных замуж. Ничего подобного в доме родителей не было». Слушая такие рассказы, она «начала понимать, что такое крепостничество, и мне хотелось, чтобы жизнь была иной».<sup>137</sup>

Герцен писал, что между дворянской семьёй и её дворовыми крепостными существовала «феодалная связь привязанности».<sup>138</sup> Мы потеряли из виду эту связь в историях угнетения, определявших наш взгляд на крепостное право после 1917 года. Но её можно найти в детских мемуарах аристократии; она живёт на каждой странице русской литературы XIX века; её дух ощущается и в русской живописи - нигде, пожалуй, не столь лирично, как у Венецианова в «*Утре помещицы*» (1823).

Из всех домашних слуг особенно близки к семье были те, кто занимался детьми: горничная, кормилица и няня. Они составляли особую касту, исчезнувшую внезапно после освобождения крепостных в 1861 году. От прочих крепостных их отличала яростная преданность, и, как бы трудно это ни было понять сегодня, многие из них черпали всю радость именно в служении семье. Получая особые комнаты в главном доме и в целом встречая доброе и уважительное обращение, такие женщины становились частью семьи, и многих оставляли при доме и содержали ещё долго после того, как они переставали работать. Ностальгия дворянина по детству была связана с теплотой и нежностью его отношений с этими людьми.

---

<sup>137</sup> Лелонг, «Воспоминания», сс. 794, 808. Об деревенских играх см. И. И. Шангина, Русские дети и их игры (Санкт-Петербург, 2000).

<sup>138</sup> Герцен, Былое и думы, с. 26.



**7. Кормилица в традиционной русской одежде. Фото начала двадцатого века**

Особенно важной фигурой в русской дворянской семье была кормилица. Русские продолжали держать крестьянских кормилиц ещё долго после того, как в остальной Европе общепринятым мнением стало, что матери должны кормить младенцев сами. Руководства по воспитанию детей начала XIX века открыто отстаивали этот обычай в национальном духе, утверждая, что «молоко крестьянской девушки может дать дворянскому ребёнку здоровье на всю жизнь и нравственную чистоту»<sup>139</sup>. Кормилицу обычно одевали, а иногда и изображали на портретах в традиционном русском костюме - обычай, сохранявшийся во многих семьях вплоть до революции 1917 года.[ Художник Добужинский так описывал эффектный облик традиционной кормилицы на улицах Петербурга до 1917 года: «У неё была своего рода “парадная форма” — псевдокрестьянский костюм, театрально придуманный, который носили вплоть до начала войны в 1914 году. Часто можно было видеть полную, румяную кормилицу, идущую рядом со своей модно одетой барыней. На ней была парчовая кофта с накидкой и розовый головной убор, если ребёнок был девочкой, или голубой — если мальчиком. Летом кормилицы носили цветные сарафаны со множеством мелких золотых или стеклянных пуговиц и кисейными рукавами-буфами» (М. В. Добужинский, Воспоминания (Нью-Йорк, 1976), с. 34).] Художник Шереметевых Иван Аргунов написал несколько портретов «неизвестных крестьянок», которые, весьма вероятно, были именно кормилицами. Сам факт того, что такая девушка могла стать предметом портретной живописи, заказанной для выставления в доме её владельца, сам по себе многое говорит о её положении в культуре русской аристократии. Павел Сумароков, вспоминая повседневную жизнь дворянства XVIII века, говорил, что кормилице среди всей домашней челяди отводилось почётнейшее место. Семья обращалась к ней по имени и отчеству, а не по прозвищу, которое обычно давали большинству крепостных. Она была также единственной служанкой, которой дозволялось сидеть в присутствии хозяйки или

---

<sup>139</sup> К. Груп, Руководство к воспитанию, образованию и сохранению здоровья детей, 3 т. (Санкт-Петербург, 1843), т. 1, с. 63.

хозяина дома.<sup>140</sup> Дворянские мемуары XIX века полны описаний семейной любви к старой кормилице, которую чаще всего воспринимали как горячо любимого члена семьи и обеспечивали жильём до самой её смерти. Анна Лелонг любила свою кормилицу Василису «больше всех», и расставание с ней, когда ей пришлось выйти замуж и покинуть родной дом, вызвало у неё «ужасное горе». Близость их отношений, «как между матерью и дочерью», вытекала из смерти младенца-сына кормилицы. Из-за обязанности кормить Анну она была вынуждена оставить собственного ребёнка. Вина и замещение переплелись - и для Анны, и для её кормилицы. Позднее, когда муж Анны умер, она взяла на себя заботу о своей старой кормилице, которая переехала к ней в усадьбу.<sup>141</sup>

Но ближе всего к сердцу дворянского ребёнка была именно няня.

Стереотип старомодной няни - той самой, что появляется в бесчисленных произведениях искусства от «Евгения Онегина» до «Бориса Годунова», - представлял собой простую и добросердечную русскую крестьянку, которая поднимала детей поутру, присматривала за их играми, водила их гулять, кормила, мыла, рассказывала им сказки, пела песни и утешала их ночью, когда они просыпались от кошмаров. Больше, чем суррогатная мать, няня была для ребёнка главным источником любви и эмоциональной безопасности. «Просто и бессознательно, - вспоминала одна женщина о своём дворянском детстве, - я впитывала живительные соки любви от моей няни, и они поддерживают меня и поныне. Сколь многих детей их верные и любящие русские няни берегли и вдохновляли, оставляя на них неизгладимый след».<sup>142</sup>

Таково и в самом деле было долговечное влияние её нежной заботы: многие мемуаристы XIX века буквально были одержимы ностальгической темой своих детских лет. Это не было какой-то задержкой развития. Скорее, это отражало то обстоятельство, что их первичные чувства были заперты в той далёкой комнате их прошлого. Раз за разом эти мемуаристы подчеркивают, что именно няня научила их любить и жить. Для одних ключом была врождённая доброта няни, пробуждавшая их нравственную чувствительность; для других - её религиозная вера, вводившая их в соприкосновение с духовным миром. «Как чудесна была наша няня! - вспоминала Лелонг. - Она была умна и всегда серьёзна, и очень набожна; я часто просыпалась ночью в детской и видела, как няня молится у двери нашей комнаты, откуда ей была видна лампада. Какие фантастические сказки рассказывала она нам, когда мы гуляли в лесу. Благодаря им лесной мир открывался мне заново, и я училась любить природу поэтически».<sup>143</sup> Утраченная идиллия «русского детства», если она вообще существовала, заключалась именно в этих чувствах, которые в памяти взрослого навсегда

---

<sup>140</sup> П. Сумароков, Старый и новый быт. Маяк современного просвещения и образованности (Санкт-Петербург, 1841), № 16, с. 20.

<sup>141</sup> Лелонг, «Воспоминания», часть 6, с. 788, и часть 7, с. 99.

<sup>142</sup> А. Тыркова-Вильямс, То, чего больше не будет (Париж, 1954), с. 38.

<sup>143</sup> Лелонг, «Воспоминания», часть 6, с. 785.

соединялись с образом няни. «Это может показаться странным, - писала А. К. Черткова (жена секретаря Толстого), - но прошло сорок лет с нашего детства, а няня всё ещё жива в моей памяти. Чем старше я становлюсь, тем яснее память детства в моём уме, и эти воспоминания так живы, что прошлое становится настоящим, и всё, что связано в моём сердце с памятью о моей милой доброй нянюшке, становится только дороже».<sup>144</sup>

В шесть или семь лет дворянский ребёнок переходил из рук няни под надзор французского или немецкого гувернёра, а затем его отправляли в школу. Разлука с няней означала болезненный обряд перехода из мира детства в мир юности и взрослости, как вспоминал гвардейский офицер Анатолий Верещагин. Когда в шесть лет ему сказали, что его отправят в школу, его «больше всего пугала мысль о разлуке с няней. Я так боялся, что просыпался ночью в слезах; я звал няню и умолял её не покидать меня».<sup>145</sup> Эта травма усугублялась тем, что она означала переход из регулируемой женщинами сферы детской игры в строгую мужскую область гувернёра и пансиона; из русскоязычной детской - в дом дисциплины, где ребёнка заставляли говорить по-французски. Молодой и невинный уже не был защищён от суровых правил взрослого мира; его внезапно принуждали оставить в стороне язык, выражавший его детские чувства, и усвоить чужой. Потерять няню значило, одним словом, быть вырванным из собственных детских чувств. Но разлука могла быть столь же тяжела и для самой няни:

«Поскольку Феврония Степановна всегда безмерно меня баловала, я вырос плаксой и настоящим трусом, о чём позднее сожалел, когда пошёл в армию. Влияние моей няни парализовало все попытки моих наставников закалить меня, и потому меня пришлось отправить в пансион. Ей было трудно смириться с тем, что я расту и вступаю в мир взрослых мужчин. После того как всё детство она меня нежила, она плакала, когда я ходил купаться в реку со старшим братом и нашим наставником, или когда ездил верхом, или когда впервые выстрелил из отцовского ружья. Когда спустя годы я, уже молодым офицером, вернулся домой, она приготовила для моего приезда две комнаты в доме, но они выглядели как детская. Каждый день она клала два яблока у моей постели. Её задевало, что я привёз домой денщика, потому что она считала своим долгом служить мне самой. Она была потрясена, узнав, что я курю, а сказать ей, что я ещё и пью, у меня не хватило духа. Но величайшим потрясением стало, когда я отправился на войну сражаться за сербов. Она пыталась отговорить меня ехать, а затем как-то вечером сказала, что поедет со мной. Мы будем жить вместе в маленьком домике, и пока я буду воевать, она станет убирать дом и готовить ужин к вечеру. А в праздники мы будем проводить день вместе, печь пироги, как делали всегда, и когда война кончится, мы вернёмся домой с медалями у меня на груди. Я мирно уснул в ту ночь, воображая, что война столь же идиллична, как ей казалось... Между тем няня была нужна мне больше, чем я думал. Когда мне было девять лет и впервые приехал наш

---

<sup>144</sup> А. К. Черткова, Из моего детства (Москва, 1911), с. 175.

<sup>145</sup> А. В. Верещагин, Дома и на войне (Санкт-Петербург, 1885), с. 48.

швейцарский наставник, отец сказал, что я должен делить комнату со старшим братом и господином Кадерли, переехав из той комнаты, где жил с няней. Выяснилось, что я совершенно не умею ни раздеваться, ни умываться, ни даже ложиться спать без помощи няни. Я не знал, как заснуть, не позвав её по крайней мере шесть раз, чтобы убедиться, что она рядом. Так же трудно было и одеваться. Я никогда сам не надевал чулки».<sup>146</sup>

Для взрослых мужчин и женщин вовсе не было необычным сохранять тесную связь со своими прежними нянями и, более того, обеспечивать им старость. Пушкин остался близок к своей старой няне и ввёл её образ во многие свои произведения. В каком-то смысле она была его музой, и этот факт признавали многие его друзья; так, например, князь Вяземский заканчивал письма к поэту словами: «низкий поклон уважения и благодарности Родионовне!»<sup>147</sup> Пушкин любил свою няню больше всех. Отчуждённый от собственных родителей, он всегда называл её «мамой», и когда она умерла, его скорбь была скорбью сына:

Подруга дней моих суровых,  
Голубка дряхлая моя!  
Одна в глуши лесов сосновых  
Давно, давно ты ждёшь меня.  
Ты под окном своей светлицы  
Горюешь, будто на часах,  
И медлят поминутно спицы  
В твоих наморщенных руках.  
Глядишь в забытые ворота  
На чёрный отдалённый путь;  
Тоска, предчувствия, заботы  
Теснят твою всечасно грудь.<sup>148</sup>

Диагилев тоже, как известно, был необычайно привязан к своей няне. Он никогда не знал своей матери, умершей при его рождении. Няня Дуня родилась крепостной в имении Евреиновых - в семье матери Диагилева. Она кормила саму мать Диагилева, а затем перешла в семью его отца как часть приданого, уже в Перми. Когда Диагилев студентом переехал в Петербург, няня отправилась с ним и жила у него в квартире в качестве домоправительницы. Знаменитые понедельничные собрания «Мира искусства» - кружка, сформировавшегося вокруг одноимённого журнала, из которого впоследствии выросли идеи «Русских сезонов», - происходили в квартире Диагилева, где няня Дуня

---

<sup>146</sup> В. А. Тихонов, «Былое (из семейной хроники)», Исторический вестник, т. 79, № 2 (1900), сс. 541–542; № 3 (1900), сс. 948–949.

<sup>147</sup> Друзья Пушкина, 2 т. (Москва, 1984), т. 2, с. 117.

<sup>148</sup> «К няне» (1826), в кн.: The Complete Poems of Alexander Pushkin, 15 т. (London, 1999–\_\_), т. 3, с. 34.

председательствовала почти как хозяйка возле самовара.<sup>149</sup> Художник Лев Бакст, постоянный участник этих собраний, увековечил её образ в своём знаменитом портрете Диагилева 1906 года.

Няня была почти священной фигурой в том культе детства, который русское дворянство сделало своим. Ни одна другая культура не была столь сентиментальной и едва ли столь одержимой детством. Где ещё можно найти столь много мемуаров, в которых первым несколькими годам жизни автора отведено столько места? У Герцена, Набокова и Прокофьева - у всех них заметна склонность слишком надолго задерживаться в детской памяти. Сущность этого культа заключалась в гипертрофированном чувстве утраты - утраты родового дома, утраты материнской или нянюшкиной нежной заботы, утраты крестьянской, детски-сказочной России. Неудивительно поэтому, что культурные элиты так были одержимы фольклором: он возвращал их в счастливое детство, в те дни, когда они слушали нянины сказки во время прогулок по лесу, и в те ночи, когда их убаюкивали колыбельными. Толстовские «*Детство. Отрочество. Юность*» (1852–1857), аксаковские «*Детские годы*» (1856), герценовские «*Былое и думы*» (1852–1868), набоковское *Speak, Memory* (1947) - вот канон литературного культа, который заново изобрёл детство как блаженное и зачарованное царство:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.»<sup>150</sup>

И то, как именно эти русские писали о своём детстве, также было необыкновенно. Все они вызывали к жизни легендарный мир (мемуары Аксакова были сознательно выстроены как сказка), смешивая миф и память, словно не довольствовались простым воспоминанием о детстве, а испытывали более глубокую потребность вернуть его, даже если для этого приходилось его заново выдумывать. То же стремление восстановить то, что Набоков называл «легендарной Россией моего мальчишества», чувствуется и в «Петрушке» Бенуа и Стравинского (1911). Этот балет выразил их общую тоску по звукам и краскам, которые оба они помнили с петербургских ярмарок своего детства. То же ощущается и в музыкальных фантазиях детства у Прокофьева - от «Гадкого утенка» для голоса и фортепиано (1914) до «симфонической сказки» «Петя и волк» (1936), навеянных сказками, которые он слышал перед сном, когда был маленьким мальчиком.

---

<sup>149</sup> С. Лифарь, Диагилев и с Диагилевым (Москва, [год неразборчив]), сс. 17–19.

<sup>150</sup> Л. Толстой, *Детство, отрочество и юность*, пер. L. and A. Maude (London, 1969), с. 58. Об этом каноне см. A. Wachtel, *The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth* (Stanford, 1990).

« Вера Артамоновна, ну расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву». Этими словами Герцен начинает свои возвышенные мемуары *Былое и думы* - одно из величайших произведений русской литературы. Родившийся в 1812 году, Герцен питал особую любовь к нянинным рассказам о том годе. Его семья была вынуждена бежать от пламени, охватившего Москву; маленького Герцена вынесли на руках у матери, и лишь благодаря охранной грамоте, полученной от самого Наполеона, им удалось спастись и добраться до своего ярославского имения. Герцен испытывал великую «гордость и радость от [того, что] принимал участие в Великой войне». История его детства слилась с национальной драмой, которую он так любил слушать: «Рассказы о московском пожаре, о Бородинской битве, о Березине, о взятии Парижа были моими колыбельными песнями, моими детскими сказками, моей *Илиадой* и моей *Одиссеей*»<sup>151</sup>. Для поколения Герцена мифы 1812 года были неразрывно связаны с воспоминаниями детства. Даже в 1850-е годы детей по-прежнему воспитывали на легендах того времени<sup>152</sup>. История, миф и память переплетались между собой.

Для историка Николая Карамзина 1812 год был годом трагическим. Пока его московские соседи перебирались в свои поместья, он отказывался «верить, что древний святой город может быть потерян» и, как писал 20 августа, предпочитал «умереть на стенах Москвы»<sup>153</sup>. Дом Карамзина сгорел в пожаре, и, поскольку он не подумал вывезти свою библиотеку, его драгоценные книги также погибли в огне. Но одну книгу Карамзин всё же спас - разбухшую тетрадь, содержащую черновик его знаменитой *Истории государства Российского* (1818–1826). Карамзинский шедевр был первой по-настоящему национальной историей - не только в том смысле, что он впервые был написан русским, но и в том, что русское прошлое было в нём представлено как национальное повествование. Прежние истории России были либо тёмными летописями о монастырях и святых, либо патриотической пропагандой, либо тяжеловесными томами документов, составленными немецкими учёными, - нечитанными и нечитаемыми.

Но *История* Карамзина обладала литературным качеством, которое сделало её двенадцать больших томов всероссийским успехом. Она соединяла тщательную учёность с повествовательными приёмами романиста. Карамзин подчёркивал психологические побуждения своих исторических действующих лиц - даже до того, что порой их выдумывал, - так что его рассказ становился особенно убедительным для читателя, воспитанного на литературных условностях романтических текстов. Средневековые цари, такие как Иван Грозный или Борис Годунов, становились в *Истории* Карамзина трагическими фигурами -

---

<sup>151</sup> Герцен, *Былое и думы*, с. 10

<sup>152</sup> Лелонг, «Воспоминания», часть 6, сс. 792, 797.

<sup>153</sup> Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву (Санкт-Петербург, 1866), с. 168.

героями современной психологической драмы; и со страниц его книги они переходили на сцену, в оперы Мусоргского и Римского-Корсакова.

Первые восемь томов *Истории* Карамзина вышли в 1818 году. «Три тысячи экземпляров разошлись в течение одного месяца - неслыханное явление в нашей стране. Все, даже великосветские дамы, начали читать историю своего отечества», - писал Пушкин. «Это было откровение. Можно сказать, что Карамзин открыл древнюю Русь, как Колумб открыл Америку»<sup>154</sup>. Победа 1812 года пробудила новый интерес и новую гордость за русское прошлое. Люди, воспитанные на старом убеждении, будто до царствования Петра Великого никакой истории не существовало, начали обращаться к далёкому прошлому в поисках истоков той неожиданной силы, которую обнаружила их страна. После 1812 года исторические книги стали выходить с необычайной быстротой. В университетах были учреждены кафедры истории (одну из них в Петербурге некоторое время занимал Гоголь). Возникли исторические общества, многие в провинции, и были внезапно предприняты огромные усилия по спасению русского прошлого. История стала тем поприщем, на котором ставились все мучительные вопросы о природе России и её предназначении. Как писал Белинский в 1846 году, «мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем»<sup>155</sup>. Эта историческая одержимость была усилена неудачей декабристов. Если Россия более не собиралась идти западным путём истории к современному конституционному государству, как надеялись декабристы и их сторонники, то каково же тогда было её подлинное предназначение?

Именно этот вопрос поставил Пётр Чаадаев, гвардейский офицер и щеголеватый друг Пушкина, в своём нашумевшем *Первом философическом письме* (1836). Чаадаев был ещё одним «дитятком 1812 года». Он сражался при Бородине, а затем, уйдя из армии в 1821 году на вершине своей карьеры, провёл следующие пять лет в Европе. Крайний западник - до такой степени, что он перешёл в римскую церковь, - он пришёл в отчаяние оттого, что в 1825 году Россия не пошла западным путём. Именно в этом контексте он и написал своё *Письмо* - «в пору безумия» (по собственному его признанию), когда он пытался покончить с собой. «Что мы, русские, когда-либо изобрели или создали? - писал Чаадаев в 1826 году. - Настало время перестать гоняться за другими; мы должны посмотреть на самих себя новым и откровенным взглядом; мы должны понять себя такими, каковы мы в действительности; мы должны перестать лгать и найти истину»<sup>156</sup>. *Первое письмо* и было попыткой открыть эту мрачную и горькую истину. Это было скорее произведение историческое, чем философское. Россия, заключал он, стояла «вне времени, без прошлого и без будущего», не сыграв никакой роли в истории мира. Римское наследие, цивилизация западной церкви и Возрождение - всё это прошло мимо России, и теперь, после 1825 года,

---

<sup>154</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 11, с. 57.

<sup>155</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, 13 т. (Москва, 1953–1959), т. 10, с. 18.

<sup>156</sup> Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, 2 т. (Москва, 1913–1914), т. 1, с. 188.

страна была сведена к «культурной пустоте», к «сироте, отрезанному от человеческой семьи», который может подражать народам Запада, но никогда не станет одним из них. Русские были подобны кочевникам на собственной земле, чужими самим себе, лишёнными чувства собственного национального наследия и своей тождественности.<sup>157</sup>

Для читателя современного мира - где самобичующие национальные декларации появляются в печати едва ли не ежемесячно, - катастрофический удар, каким стало *Первое письмо*, может быть уже не столь понятен. Оно выбило почву из-под ног у всякого, кто был воспитан в вере в «европейскую Россию» как в свою родину. Возмущение было громадным. Патриоты требовали публичного суда над этим «безумцем» за «жесточайшее оскорбление нашей национальной чести», и по приказу царя Чаадаев был объявлен сумасшедшим, заключён под домашний надзор и ежедневно осматривался врачами<sup>158</sup>. И всё же написанное им было тем, что уже много лет чувствовал всякий мыслящий русский: подавляющее ощущение жизни в пустыне или в «фантомной стране», как выражался Белинский, - в стране, которую они боялись так никогда по-настоящему и не узнать; и острый страх перед тем, что, вопреки самому смыслу их цивилизации, им, быть может, никогда не удастся догнать Запад. Подобных выражений культурного пессимизма после 1825 года было немало. Торжество реакции породило глубокое отвращение к «русскому пути». «Истинный патриотизм, - писал князь Вяземский в 1828 году, - должен состоять в ненависти к России в том виде, в каком она существует теперь»<sup>159</sup>. Литературный критик Надеждин (опубликовавший *Первое письмо* в своём журнале *Телескоп*) сам писал в 1834 году: «Мы [русские] не создали ничего. Нет ни одной области знания, в которой мы могли бы показать что-нибудь своё. Нет ни одного человека, который мог бы представлять Россию в цивилизации мира».<sup>160</sup>

Славянофилы ответили на кризис, поставленный Чаадаевым, прямо противоположным образом. Как особое направление они оформились в 1830-е годы, когда начали свои публичные споры с западниками, но и их корни восходили к 1812 году. Ужасы Французской революции привели славянофилов к отвержению универсальной культуры Просвещения и к подчёркиванию тех исконных традиций, которые отличали Россию от Запада. Это стремление к более «русскому» образу жизни было обычной реакцией на крушение надежд 1825 года. Когда стало ясно, что Россия уклонится от западного пути, европейски воспитанные русские, подобно Лаврецкому в тургеневском *Дворянском гнезде* (1859), начали исследовать - и находить добродетель - в тех сторонах русской культуры, которые были несходны с западными:

---

<sup>157</sup> То же, сс.74-92

<sup>158</sup> R. T. McNally, Chaadayev and His Friends (Tallahassee, Fla., 1971), сс. [неразборчиво].

<sup>159</sup> Цит. по: М. Гершензон, Чаадаев (Санкт-Петербург, 1908), с. 64.

<sup>160</sup> A. Koyré, La Philosophie et le problème national en Russie au début du XIX siècle (Paris, 1929), с. 286.

« Вольнодумец -- начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец -- стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого ...»<sup>161</sup>

Славянофилы прежде всего обратились к тем добродетелям, которые, как им виделось, сохранялись в патриархальных обычаях деревни, - что неудивительно, если учесть, что большинство из них происходило из помещичьих семей, живших в одной и той же местности по несколько столетий. Константин Аксаков, самый знаменитый и самый крайний из славянофилов, практически всю жизнь провёл в одном доме, держась за него, по словам современника, «как устрица за свою раковину»<sup>162</sup>. Они идеализировали простой народ (*narod*) как подлинного носителя национального характера (*narodnost'*). Славянофильские фольклористы, такие как Пётр Киреевский, отправлялись в деревни, чтобы записывать крестьянские песни, которые они считали возможным истолковывать как историческое выражение «русской души». Как ревностные защитники православного идеала, они утверждали, что русский определяется христианским самопожертвованием и смирением. В этом они видели основание духовной общности (*соборности*), в которой, как им представлялось, помещик и его крепостные соединены патриархальными обычаями и православной верой. Аксаков утверждал, что этот «русский тип» воплощён в легендарном народном герое Илье Муромце, который выступает в былинах как защитник русской земли от захватчиков и неверных, разбойников и чудовищ, - с его «кроткой силой и отсутствием наступательной свирепости, но готовностью сражаться в справедливой оборонительной войне за народное дело». [Достоевский разделял этот взгляд. Русские, писал он в 1876 году, — это «народ, преданный самопожертвованию, ищущий правду и знающий, где её найти, столь же честный и чистый сердцем, как один из его высоких идеалов — былинный богатырь Илья Муромец, которого он чтит как святого» (Ф. Достоевский, *Дневник писателя*, пер. К. Ланц, 2 т. (Лондон, 1993), т. 1, с. 660).] Именно эти качества проявили крестьянские солдаты 1812 года. Миф входил в историю.

*История* Карамзина стала исходным заявлением в длительном споре о прошлом и будущем России, который проходил через всю её культуру XIX века. Собственный труд Карамзина был твёрдо укоренён в монархической традиции, представлявшей царское государство и служащее ему дворянство как силу прогресса и просвещения. Всеобъемлющей темой *Истории* было неуклонное движение России к идеалу единого имперского государства, величие которого покоится на наследственной мудрости царя и врождённом повиновении подданных. Царь и его дворянство выступают инициаторами перемен, тогда как «народ безмолвствует» - как выразился Пушкин в последней ремарке к *Борису Годунову*. Пушкин разделял карамзинский государственный взгляд на русскую историю - по крайней мере в последние годы своей жизни, после крушения его республиканских убеждений (которые,

---

<sup>161</sup> И. Тургенев, *Дворянское гнездо*, пер. R. Hare (London, 1947), с. 43.

<sup>162</sup> И. И. Панаев, *Литературные воспоминания* (Ленинград, 1950), с. 151.

впрочем, и без того были крайне сомнительны) в 1825 году. В *Истории Пугачёва* (1833) Пушкин подчёркивал необходимость просвещённой монархии, которая одна способна защитить народ от стихийного насилия («жестокое и беспощадное») казачьего вождя Пугачёва и его крестьянских последователей. Выводя на первый план роль таких патриархальных дворян, как генерал Бибииков и граф Панин, которые подавили Пугачёва, но вместе с тем молили императрицу смягчить режим, Пушкин подчёркивал национальное руководство старого помещного дворянства, происхождением от которого он так гордился.

В противоположность этим взглядам стояло демократическое направление русской историографии, развитое декабристами и их последователями. Они подчёркивали мятежный и свободолюбивый дух русского народа и идеализировали средневековые республики Новгорода и Пскова, а также казацкие восстания XVII и XVIII веков, включая пугачёвщину. Они верили, что простой народ всегда был скрытой движущей силой истории, - теория, во многом сложившаяся под воздействием их наблюдений за крестьянскими солдатами в войне 1812 года. В ответ на знаменитый девиз Карамзина «История народа принадлежит царю» декабрист-историк Никита Муравьёв начинал своё исследование боевыми словами: «История принадлежит народу».<sup>163</sup>

Происхождение России стало одним из главных полей сражения в этой войне историков. Монархисты придерживались так называемой норманнской теории, первоначально выдвинутой немецкими историками XVIII века, которая утверждала, что первые правящие князья пришли в Россию из Скандинавии (в IX веке) по приглашению враждовавших между собой славянских племён. Единственным реальным доказательством в пользу этого взгляда была *Повесть временных лет* - летописное сказание XI века об основании Киевского государства в 862 году, - которое, вероятно, было создано для оправдания того, что в действительности было скандинавским завоеванием Руси. Теория становилась всё менее состоятельной по мере того, как археологи XIX века обращали внимание на развитую культуру славянских племён в южной России. Постепенно вырисовывалась картина цивилизации, восходящей к древним скифам, готам, римлянам и грекам. И всё же норманнская теория служила удобным основополагающим мифом для защитников самодержавия - ибо предполагала, что без монархии русские неспособны к самоуправлению. По словам Карамзина, до установления княжеской власти Россия была не чем иным, как «пустым пространством» с «дикими и враждующими племенами, жившими наравне со зверями и птицами»<sup>164</sup>. В противовес этому демократы утверждали, что русское государство развилось самопроизвольно из исконных обычаев славянских племён. Согласно этому взгляду, задолго до прихода варягов славяне уже создали собственное правление, чьи республиканские вольности были постепенно уничтожены навязанной княжеской властью. Различные версии этой мысли выдвигались всеми теми группами,

---

<sup>163</sup> Декабристы-литераторы. Литературное наследство (Москва, 1954), т. 59, с. 582.

<sup>164</sup> Н. М. Карамзин, История государства Российского, 3 т. (Санкт-Петербург, 1842-1843), т. 1, с. 43.

которые верили в природную склонность славянского народа к демократии: не одними только декабристами, но и левыми славянофилами, польскими историками (использовавшими её для обличения царского строя в Польше), а также народническими историками Украины и, позднее, России.

Другим полем битвы был средневековый Новгород - величайший памятник русской свободы и, в глазах декабристов, историческое доказательство права народа править самим собой. Наряду с близлежащим Псковом Новгород до своего завоевания царём Иваном III и подчинения Москве в конце XV века был процветающей цивилизацией, связанной с Ганзейским союзом германских торговых городов. Декабристы создали настоящий культ городской республики. Как символ давно утраченных народных вольностей, они видели в новгородском вече священное наследие, соединяющее Россию с демократическими традициями древней Греции и Рима. Юные участники «священной артели» (1814–1817) - среди них несколько будущих декабристов - открывали все свои собрания торжественным звоном вечеревого колокола. В своих манифестах декабристы пользовались терминологией средневекового Новгорода, называя будущий парламент «народным вечем»<sup>165</sup>. Миф о Новгороде приобрёл новый смысл и подрывную силу после подавления их восстания. В 1830 году Лермонтов написал стихотворение под названием *Новгород* («Храбрые сыны славян, за что вы погибли?»), в котором умышленно оставалось неясным, о ком идёт речь - о павших героях средневекового Новгорода или о борцах за свободу 1825 года. Тот же ностальгический тон звучал у Дмитрия Веневитинова в его продекабристском стихотворении *Новгород* (1826):

Ответствуй, город величавый:  
Где времена цветущей славы,  
Когда твой голос, бич князей,  
Звучит здесь медью в бурном вече,?

...

Скажи, где эти времена?  
Они далёко, ах, далёко!<sup>166</sup>

Монархическое восприятие средневекового Новгорода было прямо противоположным. Согласно Карамзину, завоевание города Москвой было необходимым шагом к созданию единого государства и было признано таковым самими его гражданами. Это подчинение было, по Карамзину, знаком мудрости русского народа: народ понял, что свобода ничего не стоит без порядка и безопасности. Новгородцы, таким образом, стали первыми добровольно согласившимися членами левиафана самодержавия. Они избрали покровительство царя,

---

<sup>165</sup> С. С. Волк, *Исторические взгляды декабристов* (Москва–Ленинград, 1958), сс. 331–333, 342.

<sup>166</sup> Д. В. Веневитинов, *Полное собрание сочинений* (Ленинград, 1960), с. 86.

чтобы спасти себя от собственных внутренних раздоров, которыми пользовались городские бояре, становившиеся деспотичными и продажными и готовые, казалось, продаться соседней Литве. Версия Карамзина была почти несомненно ближе к исторической правде, чем декабристское видение равноправной и гармонической республиканской демократии. И всё же и она была оправдательным мифом. Для Карамзина урок, который надлежало извлечь из его *Истории*, был ясен: республики скорее склонны превращаться в деспотии, чем самодержавия, - вывод, который стоило особенно подчеркнуть после того, как французская республика завершилась наполеоновской диктатурой.

Сама война 1812 года была полем битвы этих соперничающих мифов русской истории. Это особенно ясно показывало её *commemoratio* - празднование и поминовение - в XIX веке. Для декабристов 1812 год был народной войной. Это был момент, когда русские достигли зрелости, когда они перешли из детства в состояние взрослых граждан и, своим торжественным вступлением в Европу, должны были войти в семью европейских государств. Но для защитников существующего порядка война символизировала священное торжество русского самодержавного начала, которое одно только и спасло Европу от Наполеона. Это было время, когда царское государство выступило как избранное Богом орудие в новом историческом устройении.

Тот образ, который режим составил о самом себе, был высечен в камне Александровской колонной, воздвигнутой, по иронии судьбы, французским архитектором Огюстом де Монферраном на Дворцовой площади в Петербурге и открытой в двадцатую годовщину Бородинской битвы. Ангелу на вершине колонны были приданы черты лица царя Александра<sup>167</sup>. Пять лет спустя в Москве начались работы над ещё более грандиозным памятником божественному предназначению русской монархии - величественным Храмом Христа Спасителя на месте, господствующем над кремлёвскими стенами. Наполовину музей войны, наполовину церковь, он был задуман как памятник чудесному спасению Москвы в 1812 году. Проект Константина Тона воспроизводил архитектурный язык древнерусской церкви, но увеличивал его пропорции до имперского масштаба. Этот колоссальный храм был высочайшим зданием Москвы, когда, после пятидесяти лет работ, был завершён в 1883 году; и даже теперь, уже восстановленный после того, как Сталин велел его взорвать в 1931 году (один смертный приговор, который, быть может, можно было бы оправдать художественными основаниями), он по-прежнему господствует над городским пейзажем.

---

<sup>167</sup> В. А. Ашик, Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии в войнах 1812, 1813 и 1814 годов и в память Императора Александра I (Санкт-Петербург, 1913), с. 182.



#### 8. Памятник тысячелетию России на площади перед Софийским Собором

На протяжении всего XIX века эти два образа 1812 года - как национального освобождения и как имперского спасения - продолжали соперничать за общественный смысл войны. С одной стороны стояла толстовская *Война и мир* - подлинно национальная драма, рассказывающая историю с точки зрения и дворянина, и крепостного. С другой стороны были каменные памятники, триумфальные арки и ворота победы в помпезном «ампирном стиле», возвещавшие имперское могущество России; или же звук всех тех пушек в *Увертюре 1812 года* Чайковского. Даже в начале 1860-х годов, когда после освобождения крестьян возлагались большие надежды на национальное единение, эти два видения оставались в остром противоборстве. Пятидесятилетие 1812 года совпало с тысячелетием русского государства в 1862 году. Тысячелетие предполагалось отметить весной в - сколь знаменательно - Новгороде. Но император Александр II распорядился перенести торжества на 26 августа - годовщину Бородинской битвы и священную дату его собственной коронации 1856 года. Соединяя эти три годовщины, династия Романовых пыталась заново представить себя как национальный институт, освящённый священной победой 1812 года и столь же древний, как само русское государство. Открытый в Новгороде гранитный памятник стал символом этого притязания. По форме напоминавший колокол новгородского веча, он был опоясан рядом барельефов со скульптурными изображениями тех фигур - святых и князей, полководцев и воинов, учёных и художников, - которые творили тысячелетнюю историю России. Великий колокол венчала Матушка-Россия, державшая в одной руке православный крест, а в другой - щит с гербом Романовых. Декабристы пришли в ярость. Волконский, к тому времени уже вернувшийся из тридцатилетней ссылки, говорил Толстому, что этот памятник «попрал священную память Новгорода, равно как и могилы всех тех героев, которые сражались за нашу свободу в 1812 году»<sup>168</sup>.

---

<sup>168</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 62, л. 31.

«Он - энтузиаст, мистик и христианин, человек высоких идеалов для новой России», - писал Толстой Герцену после встречи с Волконским в 1859 году.<sup>169</sup> Дальний родственник декабриста, Толстой чрезвычайно гордился своим происхождением по линии Волконских. Потеряв мать в трёхлетнем возрасте, он занимался изучением истории её рода не только из академического интереса: для него это было эмоциональной необходимостью. Сергей Волконский был героем детства Толстого (все декабристы были предметом поклонения прогрессивной молодёжи поколения Толстого), а со временем именно он стал прообразом князя Андрея Болконского в *Войне и мире*.<sup>170</sup> Во многом приверженность Толстого крестьянам, не говоря уже о его желании самому стать одним из них, была вдохновлена примером его ссыльного родственника.

В 1859 году Толстой открыл школу для крестьянских детей в Ясной Поляне, старом имении Волконских, перешедшем к нему по материнской линии. Это имение имело для Толстого особое значение. Он родился в барском доме - на тёмно-зелёном кожаном диване, который хранил всю жизнь в кабинете, где писал свои великие романы. Детство он провёл в усадьбе, до девятилетнего возраста, когда вместе с отцом переехал в Москву. Ясная Поляна была для него не просто имением - это было его родовое гнездо, место, где хранились воспоминания детства, тот маленький клочок России, которому он чувствовал себя наиболее принадлежащим. «Я ни за что не продал бы этот дом», - писал Толстой брату в 1852 году. - «Это последнее, с чем я мог бы расстаться».<sup>171</sup> Ясная Поляна была куплена прабабкой Толстого, Марией Волконской, в 1763 году. Его дед, Николай Волконский, превратил её в культурное пространство: построил великолепный барский дом с большой библиотекой европейских книг, разбил пейзажный парк и пруды, устроил прядильную фабрику и знаменитые белокаменные въездные ворота, служившие почтовой станцией на дороге из Тулы в Москву. Мальчиком Толстой боготворил своего деда. Он воображал, что сам точно такой же, как он.<sup>172</sup> Этот культ предков, составлявший эмоциональное ядро толстовского консерватизма, выразился в Евгении, герое его повести «Дьявол» (1889):

Обычно принято думать, что консерваторы - это старики, а за перемены стоят молодые. Это не совсем верно. Обычно консерваторы - это молодые люди: те, кто хочет жить, но не задумывается о том, как жить, и не имеет времени задуматься, а потому берёт себе за образец тот образ жизни, который видел. Так было и с Евгением. Поселившись в деревне,

---

<sup>169</sup> Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 томах (Москва, 1949), т. 60, с. 374.

<sup>170</sup> Толстовед Борис Эйхенбаум, признавая долг перед Волконским, предполагает, что Болконский был также смоделирован по другому декабристу, Д. И. Завалишину (Лев Толстой: 60-е годы (Ленинград-Москва, 1931), сс. 199-208).

<sup>171</sup> Цит. по: В. Шкловский, Лев Толстой, пер. О. Shartse (Москва, 1988), с. [неразборчиво].

<sup>172</sup> С. Л. Толстой, Мать и дед Л. Н. Толстого (Москва, 1928), с. 9.

он поставил своей целью и идеалом восстановить тот уклад жизни, который существовал не во времена его отца... а во времена его деда.<sup>173</sup>

Николай Волконский был возвращён к жизни в образе отца Андрея, Николая Болконского, в *Войне и мире* - отставного генерала, гордого и независимого, который проводит последние годы в усадьбе Лысье Горы, посвятив себя воспитанию дочери по имени Мария (как и мать Толстого).

*Война и мир* первоначально задумывалась как «декабристский роман», вольно основанный на жизненной истории Сергея Волконского. Но чем глубже писатель вникал в историю декабристов, тем яснее понимал, что их интеллектуальные корни уходят в войну 1812 года. В раннем варианте романа (*Декабрист*) герой-декабрист возвращается после тридцати лет сибирской ссылки в атмосферу умственного брожения конца 1850-х годов. Началось второе александровское царствование - с восшествием на престол Александра II в 1855 году, - и вновь, как в 1825-м, в воздухе витали большие надежды на политические реформы. С такими же надеждами Волконский вернулся в Россию в 1856 году и писал о новой жизни, основанной на правде:

Ложь. Вот болезнь русского государства. Ложь и её сёстры - лицемерие и цинизм. Россия не может существовать без них. Но ведь дело не только в том, чтобы существовать, а в том, чтобы существовать достойно. И если мы хотим быть честны с самими собой, то должны признать: если Россия не может существовать иначе, чем существовала прежде, значит, она не заслуживает существования.<sup>174</sup>

Жить по правде или, что ещё важнее, жить по правде в России - вот вопросы всей жизни и творчества Толстого, главные темы *Войны и мира*. Впервые они были сформулированы людьми 1812 года.

---

<sup>173</sup> Л. Толстой, «Дьявол», пер. А. Maude, в кн.: *The Kreutzer Sonata and Other Tales* (Oxford, 1968), с. 236.

<sup>174</sup> Волконский, О декабристах, с. 82.



**9. Мария Волконская и ее сын Миша. 1862 г. Она страдает болезни почек и год спустя ее не станет**

Освобождение Волконского из ссылки стало одним из первых деяний нового царя. Из 121 декабриста, сосланного в 1826 году, до возвращения в Россию в 1856-м дожили только девятнадцать. Сам Сергей был человеком сломленным, и здоровье его так и не оправилось от тягот Сибири. Хотя ему было запрещено селиться в двух главных столицах, он тем не менее часто бывал в московских домах славянофилов, видевших в его мягкости, терпеливом страдании, простом «крестьянском» образе жизни и близости к земле воплощение подлинно «русских» качеств.<sup>175</sup> Московские студенты боготворили Волконского. С длинной белой бородой и волосами, с печальным выразительным лицом, «бледным и нежным, как луна», он воспринимался как «нечто вроде Христа, вышедшего из русской пустыни».<sup>176</sup> Символ демократического дела, прерванного гнетущим режимом Николая I, Волконский был живой связью между декабристами и народниками, выступившими в 1860-х и 1870-х годах как защитники народа. Сам Волконский остался верен идеалам 1812 года. Он продолжал отвергать ценности бюрократического государства и аристократии и, в духе декабристов, отстаивал гражданский долг - жить честной жизнью на службе народу, который воплощает нацию. «Ты знаешь по опыту, - писал он своему сыну Мише (служившему тогда в армии в Приамурье) в 1857 году,

что я никогда не старался убедить тебя в моих собственных политических убеждениях - они принадлежат мне. По замыслу твоей матери ты был направлен на государственное поприще, и я благословил тебя, когда ты пошёл на службу Отечеству и Царю. Но я всегда учил тебя держать себя без барских замашек с товарищами иного сословия. Ты сам

---

<sup>175</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 3, № 20, л. 1.

<sup>176</sup> Белоголовый, Воспоминания, с. 37; Декабристы. Летописи Государственного литературного музея, с. 119.

проложил себе дорогу - без покровительства бабушки, - и сознание этого, друг мой, даст мне покой до самого дня, когда я сойду в могилу.<sup>177</sup>

Представление Волконского об Отечестве было теснейшим образом связано с его представлением о царе: государь был для него символом России. Всю жизнь он оставался монархистом - до такой степени, что, услышав о смерти Николая I, того самого царя, который за тридцать лет до того сослал его, Волконский разрыдался, как ребёнок. «Твой отец плачет весь день, - писала Мария Мише, - уже третий день, и я не знаю, что с ним делать».<sup>178</sup> Быть может, Волконский оплакивал человека, которого знал ещё мальчиком. А может быть, его смерть стала катарсисом всех перенесённых в Сибири страданий. Но слёзы Волконского были и слезами о России: он видел в царе единственную объединяющую силу империи и боялся за страну теперь, когда царя не стало.

Доверие Волконского к русской монархии не было взаимным. По приказу царя бывший ссыльный после возвращения из Сибири почти постоянно находился под полицейским надзором. Ему отказали в восстановлении княжеского титула и возвращении собственности. Но больше всего его ранил отказ правительства вернуть ему медали, полученные за войну 1812 года.[ В конце концов, после нескольких лет ходатайств, царь вернул им права в 1864 году. Но другие формы признания пришли не так скоро. В 1822 году английскому художнику Джорджу Доу было поручено написать портрет Волконского для «Галереи героев» — собрания из 332 портретов военачальников 1812 года — в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. После восстания декабристов портрет Волконского был снят, и в ряду портретов на его месте остался чёрный квадрат. В 1903 году племянник Волконского, Иван Всеволожский, директор Эрмитажа, обратился к царю Николаю II с ходатайством вернуть картину на её законное место. «Да, конечно, — ответил царь, — это было так давно» (С. М. Волконский, О декабристах: по семейным воспоминаниям (Москва, 1994), с. 87)]. Тридцать лет ссылки не изменили его любви к России. Он с мучительным вниманием следил за Крымской войной 1853–1856 годов и был глубоко потрясён героизмом защитников Севастополя (среди которых был и молодой Толстой). Старый солдат (в возрасте шестидесяти четырёх лет) даже просил разрешения присоединиться к ним простым рядовым в пехоте, и лишь мольбы жены в конце концов отговорили его. Он видел в этой войне возвращение духа 1812 года и был убеждён, что Россия снова победит французов.<sup>179</sup>

Но этого не случилось. Однако именно поражение России сделало более вероятным осуществление второй надежды Волконского: освобождение крестьян. Новый царь, Александр II, был ещё одним дитём 1812 года. Его воспитывал либеральный поэт Василий

---

<sup>177</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 65, л. 79.

<sup>178</sup> Волконский, О декабристах, с. 81.

<sup>179</sup> То же, сс.81-82

Жуковский, назначенный придворным наставником в 1817 году. В 1822 году Жуковский освободил крепостных в своём имении. Его гуманизм оказал большое влияние на будущего царя. Поражение в Крымской войне убедило Александра, что Россия не сможет соперничать с западными державами, пока не отбросит старую крепостную экономику и не модернизируется. Дворянство почти не имело представления о том, как извлекать прибыль из своих имений. Большинство помещиков почти ничего не знало ни о сельском хозяйстве, ни о бухгалтерии. Тем не менее они продолжали жить с прежней расточительной роскошью, накапливая огромные долги. К 1859 году треть имений и две трети крепостных, принадлежавших землевладельцам-дворянам, были заложены в государственные и дворянские банки. Многие мелкие помещики едва могли прокормить своих крепостных. Экономический довод в пользу освобождения становился неопровержимым, и многие владельцы поневоле переходили на систему вольного труда, нанимая крепостных, принадлежавших другим. А поскольку выкупные платежи крестьян должны были покрыть долги дворянства, экономическая логика реформы становилась столь же неотразимой. [Согласно условиям освобождения, крестьяне были обязаны выплачивать выкупные платежи за общинные земли, передававшиеся им. Эти выплаты, размер которых определялся дворянскими земельными комиссиями, должны были в течение 49 лет возвращаться государству, возместившему дворянству убытки в 1861 году. Таким образом, по существу, крепостные выкупали свою свободу, выплачивая долги своих хозяев. Собирать выкупные платежи становилось всё труднее, не в последнюю очередь потому, что крестьянство с самого начала считало их несправедливыми. Окончательно они были отменены в 1905 году.]

Но дело было не только в деньгах. Царь полагал, что освобождение - необходимая мера для предотвращения революции снизу. Солдат, воевавших в Крымской войне, подводили к ожиданию свободы, и за первые шесть лет царствования Александра, до провозглашения освобождения, произошло 500 крестьянских восстаний против помещиков.<sup>180</sup> Как и Волконский, Александр был убеждён, что освобождение - это, по словам Волконского, «вопрос справедливости... нравственный и христианский долг всякого гражданина, любящего своё Отечество».<sup>181</sup> Как объяснял декабрист в письме Пущину, отмена крепостного права была «наименьшим, что государство могло сделать, чтобы признать ту жертву, которую крестьянство принесло в двух последних войнах: пора признать, что русский крестьянин - тоже гражданин».<sup>182</sup>

В 1858 году царь назначил особую комиссию для выработки предложений по освобождению в консультации с губернскими дворянскими комитетами. Под давлением закоренелых помещиков, стремившихся ограничить реформу или установить правила

---

<sup>180</sup> РГИА, ф. 914, оп. 1, д. 68, лл. 1-2.

<sup>181</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 7, л. 20.

<sup>182</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 7, л. 16.

передачи земли в свою пользу, комиссия на добрые два года погрязла в политических пререканиях. Прождав этого момента всю жизнь, Волконский боялся, что «может умереть прежде, чем освобождение свершится».<sup>183</sup> Старый князь скептически относился к помещному дворянству, зная его сопротивление духу реформ и опасаясь его способности воспрепятствовать освобождению или использовать его для усиления эксплуатации крестьян. Хотя его и не пригласили ни в одну комиссию, Волконский разработал собственный прогрессивный план освобождения, в котором предусматривал государственный банк, выдающий отдельным крестьянам ссуды на покупку небольших участков помещичьей земли в частную собственность. Крестьяне должны были возвращать эти ссуды, работая на своих наделах общинной земли.<sup>184</sup> Программа Волконского была не так уж далека от земельных реформ Петра Столыпина, премьер-министра и последней реформаторской надежды царской России в 1906–1911 годах. Будь подобная программа осуществлена в 1861 году, Россия, возможно, стала бы более благополучной страной.

В конце концов непримиримое дворянство потерпело поражение, и умеренные реформаторы добились своего - в немалой степени благодаря личному вмешательству царя. Закон об освобождении был подписан Александром 19 февраля 1861 года. Он оказался не столь далеко идущим, как надеялось крестьянство, и во многих местах вспыхнули волнения. Закон предоставлял землевладельцам значительную свободу в выборе тех участков земли, которые передавались крестьянам, а также в определении их цены. В целом, быть может, около половины пахотной земли европейской России было передано из собственности дворянства в общинное владение крестьянства, хотя точная доля во многом зависела от воли помещика. Из-за роста населения этого всё равно было далеко недостаточно, чтобы избавить крестьянство от нищеты. Даже в бывших владениях Сергея Волконского, где влияние князя обеспечило передачу крестьянам почти всей земли, сохранялся недостаток пахотных угодий, и уже к середине 1870-х годов крестьянство выступало с гневными протестами.<sup>185</sup> И всё же, несмотря на разочарование, которое реформа принесла крестьянству, освобождение стало решающим водоразделом. Свобода - хоть и ограниченная на деле - наконец была дарована массе народа, и появились основания надеяться на национальное возрождение и примирение между помещиками и крестьянством. Либеральный дух 1812 года в конце концов восторжествовал - или, по крайней мере, так казалось.

Князь Волконский находился в Ницце, когда услышал о подписании указа. В тот вечер он присутствовал на благодарственном молебне в русской церкви. При звуках хора он разрыдался. Позже он говорил, что это был «самый счастливый миг моей жизни».<sup>186</sup>

---

<sup>183</sup> Декабристы. Летописи Государственного литературного музея, с. 113.

<sup>184</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 7, лл. 20–23.

<sup>185</sup> РГИА, ф. 914, оп. 1, д. 68, лл. 1–3.

<sup>186</sup> ИРЛИ РАН, ф. 57, оп. 1, № 80, лл. 58–59.

Волконский умер в 1865 году - через два года после Марии. Его здоровье, подорванное ссылкой, было окончательно сломлено её смертью, но дух его до самого конца оставался несломленным. В эти последние месяцы он писал свои мемуары. Он умер с пером в руке, на середине фразы, в том месте, где начал рассказывать о том роковом мгновении после ареста, когда его допрашивал царь: «Государь сказал мне: “Я ...”».

К концу своих мемуаров Волконский написал фразу, которую цензура вырезала из первого издания (увидевшего свет лишь в 1903 году). Она могла бы послужить ему эпитафией: «Путь, который я избрал, привёл меня в Сибирь, к изгнанию из родины на тридцать лет, но мои убеждения не изменились, и я поступил бы так же вновь».<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup> Волконский, О декабристах, с. 3.